

# Суббота

**Автор:**

Иэн Макьюэн

Суббота

Иэн Макьюэн

Эксклюзивная коллекция. Внутри сферы. Проза Иэна Макьюэна

Известный нейрохирург Генри Пероун вполне доволен жизнью: он сумел реализоваться в профессии, у него прекрасная семья и полные взаимопонимания отношения с любимой женой. Однако однажды утром он попадает в историю, которая имеет неожиданное и трагическое продолжение. Дорожное происшествие, знакомство со странным преступником – и вот уже в его богатом доме появляется нежданный гость, который угрожает жизни Пероуна и его близких...

Иэн Макьюэн

Суббота

Уиллу и Грегу Макьюэнам

© Н. Холмогорова, перевод, 2012

©Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2012

Конкретно? Вот конкретно: что представляет собой мужчина? В городе. В этом веке. В переходный период. В общей массе. Преображенный наукой.

Подвластный учреждениям. Всецело подконтрольный. Среди торжествующей механизации. После недавнего краха радикальных надежд. В обществе, которое перестало быть сообществом и обесценило личность. Ибо возобладала множественная сила большинства, не принимающая в расчет единичное. Тратящая миллиарды на борьбу с внешним врагом, оставляя без денег домашние порядки. Допустившая дикость и варварство в крупнейших своих городах. При этом добавьте давление человеческих миллионов, познавших силу согласованного образа действий и мыслей. Как мегатонны воды формируют организмы на дне морском. Как приливы шлифуют гальку. Как ветры выдувают утесы. Прекрасная сверхструктура, открывающая новые горизонты перед неисчислимым человечеством. И ты пошлешь их работать и голодать, а сам будешь лакомиться старомодными Ценностями? Да ты сам чадо этой массы и брат всем остальным. В противном случае ты неблагодарный человек, идиот и дилетант. Вот, Герцог, думал Герцог, ты просил конкретности – получай ее.

Сол Беллоу. «Герцог» (1964).

Перевод с англ. В. Харитонова

## Глава первая

Задолго до рассвета Генри Пероун, нейрохирург, просыпается, но это необычное пробуждение. Он открывает глаза уже после того, как отбросил одеяло, а возможно, и после того, как слитным привычным усилием поднялся с постели: он не помнит, в какой именно момент проснулся, да это и не важно. Прежде с ним такого не случалось, но он не встревожен, даже не удивлен: движения его легки, каждое доставляет радость, мышцы ног и спины приятно напряжены. Встает у кровати обнаженный – он всегда ложится спать голым, – ощущая прикосновение воздуха к коже, размеренное сонное дыхание жены и холодок зимней ночи; все эти ощущения ему приятны. Часы на тумбочке показывают 3.45. Он не понимает, что его разбудило: мочевого пузыря не лопаются, кошмаров он сегодня не видел, а житейские проблемы и миропорядок как таковой его мало волнуют. Стоит во тьме, словно материализовавшись из пустоты, готовый к действию, ничем не обремененный. Несмотря на ранний час и трудный день накануне, он не чувствует усталости и совесть его спокойна. В голове ни единой мысли, лишь нечаянная бодрящая свежесть. Генри беспричинно, бесцельно

направляется к ближайшему окну, шагая легко и размашисто, так что возникает подозрение: а вдруг он лунатик? Или все это сон? Если он все еще спит, очень жаль: грезы его не интересуют, явь таит куда больше возможностей. Но нет, он уверен, что проснулся, и он в здравом уме, ибо только трезвый рассудок способен провести грань между сном и явью.

Спальня огромна и почти пуста. Генри движется как в немом кино; мелькает секундное сожаление о том, что это ненадолго и скоро пройдет. Встает у окна, осторожно, стараясь не разбудить Розалинд, раздвигает деревянные ставни. Он заботится не столько о ней, сколько о себе: придется объяснять ей, зачем встал, а момент будет упущен. Отодвигает вторую ставню – она складывается гармошкой – и приподнимает раму. Окно очень высокое, но благодаря свинцовому противовесу рама уходит вверх легко. Морозный воздух обжигает кожу, февраль все-таки, но Генри холода не боится. С высоты второго этажа он смотрит в ночь: залитый матово-белым сиянием город, остовы деревьев в сквере, внизу – черный часток ограда. За окном один-два градуса мороза, и воздух чист. Поверх уличных огней видны звезды – над ампирическим фасадом, что через площадь, еще горят остатки созвездий. Этот классический фасад – новодел, реконструкция: от немецких бомбежек району Фицровия тоже досталось. Сразу за ним – башня почтамта: канцелярски-унылая днем, ночью, умело подсвеченная, она бодро напоминает о годах оптимизма.

А сейчас годы чего? Неразберихи и страха, порой сам себе отвечает Генри, когда в еженедельной круговерти ему случится над этим задуматься. Но не сейчас. Сейчас он подается вперед, опираясь о подоконник: простор и четкость линий восхищают его. Зрение обострено до предела. Он видит слабый слюдяной блеск на тротуаре – застывший голубиный помет, на расстоянии он так же радуется глаз, как свежавыпавший снег. Ему приятна симметрия черных чугуновых прутьев ограды, их мрачных теней и решеток водостока. Переполненные урны напоминают скорее об изобилии, а не о грязи, пустые скамейки в парке ждут не дождутся обычных своих седоков – жизнерадостных клерков, вышедших на обеденный перерыв, студентов из индийского общежития, листающих толстые учебники, тихих и буйных влюбленных, угрюмых наркоторговцев и ту полоумную старуху, что часами кричит: «Пошли вон! Пошли вон!» – протяжно и сипло, как хищная болотная птица.

Застыв у окна таким невосприимчивым к холоду мраморным изваянием, он смотрит на Шарлотт-стрит, на теряющийся вдали ряд разномастных фасадов с резкими зигзагами крыш и думает о том, что этот город – на самом деле

совершенная конструкция, шедевр природы: миллионы существ лепятся к наслоениям цивилизации, как на коралловом рифе, спят, работают, развлекаются; при этом большинство из них действуют слаженно, заботясь о функционировании системы в целом. Взять хотя бы ту часть города, где обитает сам Пероун. Триумф соразмерных пропорций; в центре безупречного квадрата площади, разбитой самим Робертом Адамом, идеально круглый парк, мечта восемнадцатого века в современном обрамлении: сверху – сияние фонарей, снизу – оптоволоконные кабели, по трубам струится свежая вода, а нечистоты миглом уносятся прочь.

Привыкший анализировать собственные ощущения, он задумывается, чем вызвана столь длительная и неуместная эйфория. Может, пока он спал, на молекулярном уровне произошел химический сбой – включились допаминовые рецепторы, активируя цепную реакцию на внутриклеточном уровне; или все оттого, что сегодня суббота, или просто сказывается переутомление? Он и правда вымотался к концу недели. Вернулся в пустой дом и лег в ванну с книгой, радуясь, что ни с кем не надо разговаривать. Начитанная, и даже чересчур, дочка Дейзи прислала ему биографию Дарвина, имеющую какое-то отношение к роману Конрада, который он тоже обещал прочесть, но еще не открывал: мореплавание, даже в виде назидательных историй, его не интересует. Уже несколько лет Дейзи пытается исправить его, как она считает, вопиющее невежество: рекомендует ему книги, упрекает за дурной вкус и нечуткость к художествам. Отчасти она права: из школы – прямиком в медицинский институт, рабский труд интерна, затем – нейрохирургия вперемежку с судорожным, урывками, воспитанием детей... словом, лет пятнадцать он вовсе не открывал книг, разве что медицинские справочники. С другой стороны, смертей и страданий, мужества и отчаяния он сам повидал столько, что хватило бы на дюжину литератур. Но он послушно читает книги из ее списка: дочь уже совсем взрослая, живет в пригороде Парижа, видятся они раз в полгода, и книги помогают ему поддерживать с ней связь. Кстати, она приезжает сегодня вечером – вот и еще один повод для эйфории.

Дейзи приезжает, а он не прочел еще и половины из списка, – и вот, лежа в ванной, время от времени поправляя ногой регулятор теплой воды, моргая слипающимися от усталости глазами, читал он о том, как Дарвин создал «Происхождение видов», а затем – краткий пересказ заключительных страниц, опущенных в последующих изданиях, и в то же время слушал новости по радио: беспристрастный мистер Бликс[1 - Под руководством Ханса Бликса в 2000–2003 гг. в Ираке работала комиссия ООН по поиску оружия массового поражения.] снова обращается к ООН... предотвратить войну... Тут Пероун

понял, что ничего не понимает, выключил радио и снова взялся за книгу. Местами эта биография вызывала у него приятную ностальгию по старой зеленой Англии, Англии дилижансов и высоких устремлений; местами – легкую горечь оттого, что вся человеческая жизнь, словно домашний соус в бутылке, умещается на нескольких сотнях страниц. И оттого, с какой легкостью наше существование – мечты и надежды, родные и друзья, тысячи любимых мелочей, таких вековых, таких незыблемых, – исчезает без следа. Потом он прилег на кровать, чтобы подумать, чем бы поужинать... и дальше не помнил ничего. Должно быть, Розалинд, придя с работы, укрыла его одеялом. Должно быть, поцеловала. Сорокавосемилетний мужчина в пятницу вечером, в половине десятого, падает на кровать и спит как убитый – что ж, такова современная жизнь. Он работает, не щадя себя, как и все вокруг; а эта неделя выдалась тяжелее прочих, поскольку половина больничного персонала слегла с гриппом и список операций на этой неделе у него был вдвое длиннее обыкновенного.

Генри сам не понимает, как ухитряется работать в таком режиме: одновременно он проводит в одном помещении сложную операцию, в другом – рутинные процедуры, в третьем – надзирает за старшим из своих интернов. Интернов-нейрохирургов у него двое: Салли Мэдден – почти мастер, на нее вполне можно положиться, и младший, Родни Браун из Гайаны – парень способный и трудолюбивый, но ему недостает уверенности в себе. У Джея Стросса, анестезиолога, постоянно работающего с Генри, свой интерн – девушка по имени Гита Сиал. Три дня, с Родни на хвосте, Пероун метался из одной операционной в другую, из другой в третью – стук собственных башмаков по начищенным полам коридора и разнообразные скрипы и взвизги дверей служили ему аккомпанементом. Взять хотя бы пятничное расписание. Оставив Салли зашивать прооперированного, Пероун мчится в соседнюю операционную, чтобы избавить пожилую пациентку от тригеминальной невралгии, вызывающей болезненный тик. Небольшие стандартные операции всегда доставляют ему удовольствие – ему нравится действовать быстро и аккуратно. Просунув палец в перчатке в рот пациентки, он нащупывает на нёбе нужную точку и, едва взглянув на экран увеличителя, протыкает ей щеку длинной иглой – прямо в узел тригеминального ганглия. Джей заходит с порога посмотреть, как Гита на краткий миг приводит женщину в сознание. От электрической стимуляции кончиком иглы женщина морщится и сонным голосом подтверждает, что положение правильное – Пероун попал в цель с первого раза. Ее снова усыпляют, а больной нерв «поджаривают» радиочастотной термокоагуляцией. Фокус в том, чтобы, убрав боль, оставить чувствительность к легким прикосновениям, – и с этой задачей Пероун легко справляется. Пятнадцать минут работы – и три года невыносимой, изматывающей боли остались в

прошлом.

Затем Пероун зажимает шейку аневризмы центральной мозговой артерии – в этом искусстве он настоящий мастер – и проводит биопсию опухоли в таламусе, где оперировать невозможно. Пациент – двадцать восемь лет, профессиональный теннисист, уже страдает от потери памяти. Пероун извлекает из глубин его мозга иглу и с первого взгляда видит, что ткань аномальна. Устное сообщение из лаборатории подтверждает его правоту. Остается слабая надежда на радио- или химиотерапию... и еще – нелегкий разговор с родителями парня.

Следующий случай – краниотомия: менигиома у женщины пятидесяти трех лет, директрисы начальной школы. Опухоль разрослась над двигательным центром – четко очерченная, она легко отделяется от здоровой ткани несколькими движениями «ротона». Неплохо, очень неплохо. Пока Салли зашивает пациентку, Пероун мчится в соседнюю операционную, где ждет многоуровневой лумбарной ламинэктомии мужчина сорока четырех лет, садовник из Гайд-парка. Садовник безобразно толст, водянистые тела его, распростерты на столе, колышутся и трясутся от манипуляций хирурга; чтобы добраться до позвонков, Пероуну приходится прорезать добрых четыре дюйма подкожного жира.

Затем – услуга старому приятелю-отоларингологу, попросившему вскрыть слуховой проход у семнадцатилетнего пациента (интересно, почему ухо-горло-носы такие нерешительные?). Пероун вырезает прямоугольный участок кости за ухом; это занимает больше часа, и на пороге, разъяренно жестикулируя, приплясывает Джей Стросс, которому не терпится покончить с собственным списком. Наконец обнажается для операционного микроскопа опухоль – небольшая вестибулярная шваннома, в каких-нибудь трех миллиметрах от улитки. Поручив справиться с ней приятелю ухо-горло-носу, Пероун бежит в соседнюю операционную на процедуру. Процедура рутинная, но неприятная – крикливая дамочка слезливо-скандальным тоном потребовала, чтобы спинальный стимулятор ей переставили на живот. Она уже была здесь месяц назад, просила поставить стимулятор на спину, а то с ним неудобно сидеть. Теперь же обнаружилось, что, когда он на спине, невозможно лежать. Пероун делает длинный разрез на животе, битый час копается в дамочкиных внутренностях, разыскивая провод от батарейки, – и, главное, зачем? Ведь через месяц опять придет!

Обедает он бутербродом с рыбой и огурцом, запивая его минералкой из бутылочки. В тесной комнате отдыха, где запахи тостов и пиццы из микроволновки живо напоминают об операционной, он садится рядом с санитаркой Хизер, разбитной кокни, любимой всеми в отделении, и выслушивает пространную повесть о том, как ее зятя по ошибке арестовали за вооруженный грабеж. А у него ведь алиби безупречное, во время преступления он был у зубного врача, где ему выдирали зуб мудрости. В другом конце комнаты идут разговоры о гриппе: сегодня слегли еще одна медсестра и стажер Джея Стросса. Посидев четверть часа, Пероун возвращается в операционную. Пока Салли за соседней дверью сверлит череп старика, дорожного инспектора на пенсии, чтобы облегчить давление внутреннего кровоизлияния – у него хроническая субдуральная гематома, – Пероун делает краниотомию для иссечения правой фронтальной глиомы, и в этом ему помогает последнее слово техники – компьютеризированная система слежения. Следующую субдуральную гематому он поручает Родни.

Кульминацией дня становится удаление пилочитозной астроцитомы у четырнадцатилетней Андреа Чепмен – девочки из Нигерии, живущей в Брикстоне в семье дяди, викария англиканской церкви. До опухоли удобнее всего добираться сзади, из сидячего положения, с местной анестезией, а это создает Джею Строссу дополнительные сложности – может случиться, что пузырек воздуха попадет в вену и вызовет эмболию. Андреа Чепмен – тяжелая пациентка, да и племянница не из легких. В Англию она приехала два года назад, удрученный викарий и его жена показали Пероуну фотографию: милая девчушка в кружевном фартучке, с тугими лентами в косичках и застенчивой улыбкой. Но брикстонская средняя школа разбудила в ней что-то такое, что в нигерийской провинции предпочитало не проявляться. Музыка, манера одеваться, уличный жаргон, уличные «понятия» – все это она быстро усвоила. Ее стало не узнать, жаловался викарий, пока его жена суетилась вокруг племянницы в приемном покое. Прогуливает школу, пьет, принимает наркотики, ворует в магазинах, хамит и ругается «как матрос». Может быть, все это оттого, что опухоль что-то придавила в мозгу?

Но Пероун не мог его этим утешить. Опухоль располагалась далеко от лобных долей – в верхней части червя мозжечка. Девочка уже страдала от утренних головных болей, «слепых пятен» и атаксии – расстройства координации. Но и эти симптомы не разубеждали ее в том, что против нее составлен заговор: опекуны, врачи, полиция – все сговорилось и объявило ее больной, чтобы не позволить ей больше тусоваться в клубах. Не проведя в больнице и нескольких часов, она успела поругаться с медсестрами, старшей медсестрой и престарелой соседкой

по палате, сделавшей ей замечание за мат. Да и самому Пероуну объясняться с ней было нелегко. Даже в относительно спокойном состоянии Андреа трещала без умолку, словно рэпер на MTV, раскачивалась, сидя на койке, жестикулировала с неожиданной плавностью, раскрытыми ладонями словно глядя воздух перед собой, – быть может, пыталась успокоить собственные внутренние бури. И все же Пероуну она понравилась – ее неукротимый дух, пламенные темные глаза, белоснежные зубы и стремительно мелькающий между ними розовый язычок. Посреди самых безобразных сцен она вдруг улыбалась весело и лукаво, словно проверяла, удастся ли ей и на этот раз выйти сухой из воды. Укротил ее Джей Стросс: лишь американец сумел найти нужное сочетание тепла и прямоты, как видно недоступное англичанам.

Операция Андреа длилась пять часов и прошла успешно. Пациентку посадили, наклонив голову вперед и уложив лбом на специальную подставку. Вскрывать приходилось очень осторожно – на затылке, прямо под костью, проходят крупные сосуды. Родни стоял по левую сторону от Пероуна с биполярным коагулятором наготове – на случай, если начнется кровотечение. И вот наконец перед ними предстал намет мозжечка – бледный, хрупкий, прекрасный, почему-то напомнивший Пероуну танцовщицу под покрывалом. Под ним лежал мозжечок. Осторожно проведя разрез, Пероун позволил мозжечку опуститься вниз – усилий здесь не требовалось, хватило одной силы тяжести – и заглянул вглубь, туда, где, придавленное огромной красной массой опухоли, лежало шишковидное тело. Астроциты были четко очерчены и только частично инфильтрировались в окружающую ткань. Пероун сумел вырезать почти все, не повредив ни одной важной функциональной области.

Пероун дал Родни несколько минут повозиться с микроскопом и вакуумным отсосом, затем позволил зашить разрез. Забинтовал сам. Выйдя наконец из операционной, не чувствовал ни малейшей усталости. Операции никогда его не утомляют: в замкнутом мире операционной, среди жестко упорядоченных процедур, поглощенный красочными картинками в линзе операционного микроскопа, он чувствует себя почти богом, и работа доставляет ему наслаждение.

И утренний прием накануне, как и в прочие дни недели, был не сложнее обычного. Пероун слишком опытен, чтобы впускать в себя разнообразные человеческие боли и беды: его задача – помогать. И обходы, и еженедельные собрания разных комитетов его не утомляют. Нет, по-настоящему вымотала его послеобеденная бумажная работа: гора запросов, ответы на запросы, тезисы для

двух конференций, письма коллегам и издателям, неоконченное сравнительное исследование, а кроме этого – административные предложения, и правительственный проект реформы фонда, и ревизия учебных программ. А помимо всего этого, пора – давно пора – коренным образом пересмотреть план действий в случае ЧС. Понятие «чрезвычайная ситуация» давно уже не ограничивается простой железнодорожной аварией: слова «катастрофа», «массовые человеческие жертвы», «химическое и биологическое оружие», «ядерная атака» в последнее время стерлись от повторения. Весь прошлый год множились разные комитеты и подкомитеты, а сейчас их циркуляры, входящие и исходящие, вышли за пределы медицинской иерархии, достигая далеких высот Гражданской службы и министра внутренних дел.

И Пероун диктовал, долго и монотонно, а когда секретарша ушла домой, стал печатать сам, сидя в тесном жарком кабинете на третьем этаже. Работу задерживало непривычное отсутствие беглости. Он привык гордиться легкостью в подборе слов, гладким суховатым стилем. Ему не приходится долго думать над текстом – пока пальцы набирают, нужные слова приходят сами. Но сегодня он начал спотыкаться. Нет, с профессиональной терминологией – а уж ее-то он знал великолепно – у него по-прежнему было все хорошо. Но отдельные слова вдруг вставали поперек дороги – как будто он на ходу натыкался то на велосипед, то на шкаф, то на вешалку для пальто. То он, составив предложение и начав его печатать, забывал, что дальше, то загонял себя в грамматический тупик, так что приходилось стирать написанное и начинать заново. Над тем, было ли это причиной усталости или ее следствием, он не задумывался – просто упрямо довел работу до конца, в восемь вечера разослал последние электронные письма и встал из-за стола, за которым горбился с четырех. По дороге домой заглянул к своим сегодняшним пациентам в отделение интенсивной терапии. Все было нормально. Андреа спала, и, судя по мониторам, у нее все было в порядке. Меньше чем через полчаса он вернулся домой, принял ванну – и вскоре уже спал.

Две фигуры в темных пальто пересекают площадь по диагонали, к Кливленд-стрит, удаляясь от него под дробный перестук каблучков, – наверняка медсестры возвращаются домой, хотя сейчас не время для пересменки. Они идут молча, хоть и не в ногу, но очень близко друг к другу, по-родственному, плечом к плечу. Проходят прямо под окном и, перед тем как уйти с площади, делают четверть круга по парку. Как трогательно: за каждой в воздухе повисает облачко пара, как будто эти взрослые женщины играют в паровозики. Вот они

подходят к дальнему углу площади; Генри смотрит на них с высоты, и не просто смотрит, но следит за их перемещением, как всеведущий, но далекий бог. Вот они шагают в ночи, в промозгом холоде – теплые биологические моторы, снабженные сложным механизмом ходьбы, пригодным для любой местности; тела их начинены бесчисленным множеством нервных сетей, подводящих вглубь, к костям, мышцам, теплые нити, по-своему разумные, позволяющие живой машине самой выбирать свой путь.

Он стоит у окна уже несколько минут; возбуждение понемногу проходит, и он начинает дрожать от холода. Под парковыми платанами, замкнутыми в кольцо ограды, на темных пригорках и впадинах лежит изморозь. Машина «скорой помощи» с отключенной сиреной, сверкая голубыми огнями на крыше, вырывается на Шарлотт-стрит и, прибавив скорость, направляется на юг – должно быть, в Сохо. Он отворачивается от окна, чтобы надеть толстый шерстяной халат, висящий на стуле. И в этот самый момент в его поле зрения появляется что-то новое – какая-то яркая бесцветная точка то ли на площади, то ли между деревьями. Но он не сразу поворачивается к окну. Он замерз и хочет накинуть халат. Он поднимает халат, просовывает одну руку в рукав, на ощупь находит второй и только тогда, шагнув к окну и затягивая пояс, – видит.

Сперва он не понимает, что это такое, то есть ему кажется, что понимает. Его первая мысль – радостная, – что это космическое явление. Метеорит пылает в лондонском небе, двигаясь слева направо, низко над горизонтом, хотя и выше самых высоких домов. Но нет: падучие звезды гаснут мгновенно. Вспыхнула – и сгорела, и нет ее. А эта движется медленно, даже величественно. Пероун сразу же пересматривает свое представление о расстоянии: нет, этот огонь не в сотнях, а в миллионах миль от Земли, огибает Солнце по вытянутой орбите. Это комета – чуть тронутая золотом по краям, с ярким ядром, оставляющим за собой хвост. Он видел комету Хейла-Боппа: они с Розалинд и с детьми наблюдали ее с травянистого пригорка в Озерном крае, и сейчас он снова испытывает тот же всплеск благодарности за то, что ему позволено на миг соприкоснуться с чем-то неземным, поистине безличным. И на этот раз все еще лучше – ярче, быстрее, еще поразительнее оттого, что ничего подобного он не ожидал. Должно быть, пропустил новости. Совсем заработался. Он уже готов разбудить Розалинд – ей интересно будет посмотреть, – но понимает, что, пока она встанет, пока подойдет к окну, комета исчезнет. Тогда он тоже все пропустит. Но и не поделиться таким зрелищем невозможно.

Он уже делает шаг к кровати, как вдруг слышит тихий, ровный, постепенно нарастающий механический гул. Только теперь он понимает. Оглядывается через плечо, ища подтверждения своей догадке. Да, конечно: комета с такого расстояния казалась бы неподвижной. В ужасе он бросается назад, к окну. Под нарастание механического гула снова переоценивает расстояние, на сей раз в сторону уменьшения, от космической ледяной пыли – к земному. Три или четыре секунды прошли с тех пор, как он увидел огонь в небесах, и за это время он дважды менял свое мнение. Все верно: огонь летит по тому же маршруту, которым он сам много раз возвращался домой – поднимал спинку сиденья, смотрел на часы, откладывал бумаги и принимался вглядываться в иллюминатор, тщетно пытаясь различить в огромном, серо-желтом, почти красивом облаке смога свой дом; с востока на запад, вдоль южного берега Темзы, в двух тысячах футах над землей, на подлете к Хитроу.

Теперь самолет точно на юге, примерно в миле отсюда; скоро он пролетит над верхушками самых высоких деревьев, а затем скроется за почтамтом. Несмотря на яркое городское освещение, контуры самолета теряются в предрассветной мгле. Горит, должно быть, ближнее крыло, в том месте, где оно соединяется с фюзеляжем, или один из моторов под крылом. Передний край огня образует приплюснутую белую сферу, сзади он вытягивается в красно-желтый конус, совсем непохожий ни на метеор, ни на комету – разве что в изображении какого-нибудь современного художника. Мигают посадочные огни – словно притворяются, что ничего страшного не происходит. Но рев мотора выдает их обман. На фоне обычного глубокого, спокойного гула нарастает другой звук, прерывистый, кашляющий, жуткий, – то ли визг, то ли сдавленный крик, нечистый, смешанный звук, выдающий предельное напряжение металла; он нарастает, он закручивается, он растет и растет, как аккомпанемент к жуткому аттракциону. Сейчас что-то произойдет.

Он не станет будить Розалинд. К чему ей видеть этот кошмар? И действительно, чем-то все это напоминает давно забытый сон. Сидя в кресле, перед едой на пластиковой тарелочке, убаюканный, как и большинство пассажиров, монотонностью полета, он порой позволяет себе подумать и об опасности. Снаружи, за стенкой из стальных листов и светлой пластмассы – минус шестьдесят градусов и четыре тысячи футов до земли. Когда летишь через Атлантику со скоростью пятьсот футов в секунду, приходится полагаться на случай, потому что все так делают. Другие пассажиры не боятся, потому что смотрят на тебя, а ты делаешь вид, что не боишься. С одной стороны, если взять статистику, то под колесами автомобилей люди гибнут куда чаще, и это успокаивает. В конце концов, как иначе попасть на конференцию в Южной

Калифорнии? Полет – как фондовая биржа, все держит лишь хрупкий союз ожиданий. Пока ни у кого не сдали нервы, пока на борту нет ни бомб, ни бандитов – все прекрасно. Но при малейшем сбое рискуешь всем. И если взять другую статистику – число смертей на число поездок, эти цифры не утешают. И биржа давно лопнула бы.

Порой, замерев с пластмассовой вилкой в руке, он пытается представить себе, как это бывает: женский визг, приглушенный салонной акустикой; торопливое копание в багаже в поисках мобильных; стюардессы, в ужасе цепляющиеся за обрывки заученных действий; все уравнивающий запах дерьма. Но и снаружи, с точки зрения праздного зрителя, эта картина тоже ему знакома. Почти полтора года прошло с тех пор, как полпланеты смотрело на невидимых пленников, несущихся по небесам к неминуемой катастрофе, – а невинный силуэт летящего самолета все еще вызывает неприятные ассоциации. Все сходятся на том, что аэролайнеры в небе теперь выглядят как-то по-другому – то ли хищно-зловещими, то ли обреченными.

Генри кажется, что на темном фоне небес он различает еще более темную тень – очертания самолета, но он понимает, что это лишь обман зрения. Вой горящего мотора все пронзительнее. Так и ждешь, что вот-вот внизу, в спящих окнах, один за другим зажгутся огни или на площадь высыплют местные жители в ночных рубашках. За спиной у него Розалинд поворачивается на другой бок – шум ночного города ей никогда не мешает, этот вой, должно быть, звучит для нее не страшнее полицейской сирены на Юстон-роуд. Белая сердцевина пламени и красно-желтый хвост становятся все больше. Там, где горит, в центральной части, пассажирам не выжить. И это тоже знакомая часть кошмара – ужас, которого не видишь. Катастрофа, за которой следишь с безопасного расстояния. Видна смерть, но не видны те, кто умирает. Ни крови, ни криков, ни самих человеческих фигур – только пустота, подстегивающая воображение. Смертельная схватка в салоне – несколько смельчаков противостоят вооруженным фанатикам... В какую часть самолета бежать, чтобы спастись от невыносимого жара? Наверное, к пилотам – рядом с людьми как-то легче. Задержаться в салоне, чтобы достать с полки свой багаж, – что это, жалкая глупость или необходимый оптимизм? И попытается ли тебя остановить та густо накрашенная дама, что совсем недавно подавала тебе джем и круассаны?

Самолет летит над верхушками деревьев. В просветах меж голых ветвей празднично мелькает огонь. Пероуну приходит в голову, что надо бы что-то сделать. Но пока он дозвонится до службы спасения, все будет кончено.

Наверняка они уже все знают от самого пилота – если он жив, конечно. Может быть, уже заливают пеной посадочную полосу. Спускаться вниз и одеваться, готовясь к срочному выезду, тоже бессмысленно. По плану ЧС аэропорт не в их районе. В других кварталах, к западу, в темных спальнях сейчас одеваются другие врачи, они ни о чем не подозревают. До земли еще миль пятнадцать. Если взорвутся топливные баки, врачебное искусство не понадобится.

Самолет выныривает из-за деревьев, пересекает пустое пространство и скрывается за почтамтом. Будь Пероун склонен к мистике, к поиску сверхъестественных объяснений, он мог бы задуматься о своем избранничестве, – зачем-то он проснулся, встал у окна, наверняка внешний разум решил сообщить или показать ему что-то важное. Но город по самой своей природе плодит бессонницу и сам не знает отдыха: провода его поют не умолкая; и наверняка каждую ночь миллионы людей стоят у окон и таращатся в пустоту, хотя им полагается спать. Причем каждую ночь это другие. То, что в эту ночь не спящим оказался он, – чистая случайность. Антропный принцип, только и всего. Готовность усматривать в случайностях сверхъестественный смысл напрямую связана с тем, что его коллеги-психиатры именуют проблемой, или идеей, отношения. Избыток субъективности, желание упорядочить мир в соответствии со своими нуждами, неспособность примириться с собственной незначимостью. С точки зрения Генри, подобный образ мыслей относится к тому спектру, на краю которого зловещим покинутым храмом висится психоз.

Возможно, подобные рассуждения и разожгли пожар на борту самолета. Какой-нибудь истинно верующий с бомбой в каблуке. Среди перепуганных пассажиров многие, должно быть, молятся (еще один случай «идеи отношения»), каждый своему богу, умоляя его вмешаться. А потом, на похоронах, их родные будут обращаться за утешением к тому самому богу, что погубил их близких. Для Пероуна это еще один повод для изумления, свидетельство сложности человеческой природы, выходящей за рамки нравственности. Как получается, что бок о бок с безумием и резней существуют достойные люди, благородные дела, прекрасные соборы, мечети, кантаты, поэмы? Даже отрицание Бога, как Генри с изумлением и негодованием услышал как-то от священника, – это духовный опыт, форма молитвы; выходит, не так-то просто вырваться из когтей религии. Нет, лучше надеяться, что самолет загорелся по самым простым, механическим причинам.

Вот он показывается из-за башни и плывет по открытому участку западного неба, чуть отклоняясь к северу. Кажется, огонь гаснет, но это всего лишь

меняется угол зрения. Теперь виден в основном хвост с мигающими огнями. Вой раненого мотора стихает. Выпущены ли шасси? Генри надеется на это, хочет, чтобы было так. Молитва? Нет: он никогда ни у кого не просил одолжений. Вот и посадочные огни растворяются во тьме – а он все смотрит в западное небо, не в силах отвернуться, страшась, что сейчас увидит взрыв. Хоть и в халате, он совсем замерз; на стекле застыл пар от его дыхания, и Генри стирает его ладонью. Вспоминается беспричинное радостное волнение, поднявшее его с постели, – теперь оно кажется таким далеким. Наконец он выпрямляется и тихо закрывает ставни, чтобы не видеть неба.

Отходя от окна, он вспоминает знаменитый мысленный эксперимент, о котором слышал когда-то на уроке физики. Кот – Кот Шредингера – скрыт от взгляда в закрытом ящике, закупорен вместе с емкостью, наполненной ядовитым газом. Молот внутри либо не разбивает, либо разбивает емкость; соответственно, кот либо жив, либо мертв. Пока наблюдатель не откроет ящик, обе возможности – мертвый кот и живой кот – существуют бок о бок, в параллельных вселенных, равно реальных. Едва мы откроем ящик и взглянем на кота, одна из реальностей исчезнет. Генри это всегда казалось бессмыслицей. Еще один пример «идеи отношения», неправомерное применение антропного принципа. Он слышал, даже физики сейчас от этого отказываются. Для него очевидно: результат существует сам по себе, независимо от наших о нем знаний, и только ждет, чтобы мы его открыли. Открытие уничтожает лишь наше незнание – больше ничего. Каков бы ни был счет – он уже подведен. Какова бы ни была судьба пассажиров – жизнь или смерть, – она неизбежна.

На первой консультации многие украдкой косятся на руки хирурга. Будущие пациенты надеются увидеть в них чуткость, уверенность или, быть может, незапятнанную белизну. Именно из-за рук Генри Пероун каждый год теряет немало пациентов. Обычно он сразу понимает, что больше они не придут: по учащающимся косым взглядам вниз, по запинкам на заранее подготовленных вопросах, по торопливым и преувеличенным благодарностям на пути к выходу. Уходят, конечно, не все – некоторые больные просто не знают, что имеют право пойти куда-то еще, других успокаивает его репутация, или же им просто наплевать; многие ничего такого не замечают и не чувствуют; а есть и такие, что и видят, и чувствуют, только сказать об этом уже не могут.

Самого Пероуна это не смущает. Пусть трусливые бегут в соседний кабинет или едут в другую клинику – их место займут другие. Море нервных заболеваний

велико и пространно. А руки у него сильные и уверенные – просто очень большие. Будь он пианистом (когда-то играл, но совсем чуть-чуть), такая растяжка ему бы очень пригодилась. Большие, жилистые, узловатые, с выпирающими костяшками, с рыжеватой порослью на первых фалангах пальцев, подушечки которых широки и сплющены, словно присоски у саламандры. Большие пальцы слишком длинные и изогнуты наподобие бананов; даже когда они не двигаются, кажется, что они гуттаперчевые, и человеку с такими руками самое место на арене цирка, среди клоунов и акробатов. К тому же руки Пероуна – как и почти все остальное – густо, почти до самых ногтей, усеяны коричнево-рыжими веснушками. Многих пациентов это смущает, даже пугает; не хочется, чтобы такие руки – пусть и в перчатках – копались в твоих мозгах.

Руки эти принадлежат высокому, жилистому человеку, слегка отяжелевшему и сутулившемуся с годами. Лет двадцать назад твидовый пиджак болтался на нем, как на вешалке. Рост его – если он выпрямится – шесть футов и два дюйма, а легкая сутулость придает чуть виноватый вид, что, как многие пациенты считают, только придает ему обаяния. Эта сутулость, вместе с неторопливо-раздумчивой манерой речи и улыбчивыми морщинками в уголках светло-зеленых глаз, успокаивает их и помогает расслабиться. Лет до сорока к этому добавлялась еще веселая россыпь мальчишеских веснушек; но в последнее время веснушки на лице начали блекнуть, словно сообразив, что почтенному доктору не к лицу легкомысленный вид. А вот о его рассеянности, пожалуй, пациентам знать не стоит. Дело в том, что доктор Пероун любит помечтать. В самые неожиданные моменты, иной раз прямо во время консультации, в ход его размышлений, подобно сообщениям о пробках в авторadio, врываются нежданные мысли, и он охотно отдается им, не забывая, впрочем, кивать, и хмуриться, и сжимать губы в полуулыбке, словно по-прежнему слушает и слышит. Его собеседники ничего не замечают, и сам он, вернувшись несколько секунд спустя из своих мысленных странствий, неизменно обнаруживает, что ничего важного не пропустил.

Сутулость его в каком-то смысле обманчива. До последнего времени Пероун считал себя человеком спортивным и сейчас не спешит расставаться с этим мнением. На обходах он меряет коридоры таким широким шагом, что свита с трудом за ним поспевает. Он более или менее здоров. После душа, если есть свободная минутка и желание взглянуть на себя в зеркало, он замечает небольшой жирок – легкую, едва ощутимую выпуклость на талии, под ребрами. Стоит выпрямиться или поднять руки – она исчезает. Все остальное в порядке, мышцы – и грудные, и брюшные, – хоть и довольно скромные, выглядят вполне прилично, особенно при выключенной люстре, когда свет падает сбоку. Нет, он

еще совсем не старик. Волосы его, хоть и поредевшие, сохраняют изначальный рыжевато-коричневый цвет и лишь на лобке подернулись первыми нитями седины.

По возможности он старается бегать по утрам – в Риджент-парке, мимо восстановленных садов Уильяма Несфилда, мимо Лайон-Таза, к Примроуз-Хилл и обратно. На корте обыгрывает в сквош[2 - Игра наподобие тенниса, с ракеткой и резиновым мячом.] коллег помоложе себя: стоя в центре поля, широким размахом длинной руки он посылает партнеру высокие мячи, которые не так-то легко отбить. Своего анестезиолога-консультанта он по субботам обыгрывает через раз. Но если противнику удастся выгнать его из удобной центральной позиции и заставить побегать, то минут через двадцать Генри выдыхается. Прислонившись к стене, чтобы передохнуть, он порой рассеянно щупает пульс и спрашивает себя, бывает ли вообще у сорокавосемилетних сто девяносто в минуту? Был однажды случай: только он успел сыграть две игры с Джем Строссом, как их вызвали – в Паддингтоне поезд сошел с рельсов, тогда вызвали всех, – и двенадцать часов они простояли в операционной, натянув зеленые хирургические костюмы поверх шорт и футболок. Каждый год Пероун в благотворительных целях бежит полумарафон; ходит слух (неверный), что его подчиненные должны делать то же самое, иначе не видать им повышения. В прошлом году он пробежал дистанцию за час сорок одну минуту – на одиннадцать минут больше его личного рекорда.

Мягкость и нерешительность – черта чисто внешняя, принадлежность стиля, а не характера: нерешительных нейрохирургов не бывает. Естественно, студентам и подчиненным докторского обаяния достается меньше, чем пациентам. Студент, который, описывая в присутствии Пероуна результаты томографического сканирования, скажет «небольшое снижение слева», получит нагоняй и будет отправлен учить термины. В операционной Пероун считается молчуном: ни потока брани в опасные моменты, ни яростного шипения, от которого стремглав вылетают за дверь неуклюжие сестры, ни шуток и прибауток, призванных снять напряженность: «Так, ребята, а теперь поиграем на скрипке!» – от него не услышишь. Напротив, Пероун считает, что в трудные минуты напряженность необходима. Поэтому предпочитает молчание или краткие отрывистые приказы. Если стажер слишком долго возится с ретрактором или медсестра вкладывает ему в руку пинцет под неудобным углом, в дурной день у Пероуна может вырваться: «Черт!» – и это так непривычно, что молчание становится еще напряженнее. А вообще он любит работать под музыку, прежде всего под фортепианные произведения Баха – «Вариации Голдберга», «Хорошо темперированный клавир», партиты. Слушает

Анжелу Хьюитт, Марту Аргерич, иногда Густава Леонхардта. Под настроение может послушать и вольную интелектуальную тещу Глена Гулда. В комитете Пероун – сторонник пунктуальности и внимательно следит за тем, чтобы все вопросы обсуждались и решались в отведенное для них время; в этом смысле он хороший председатель. Шутки и анекдоты старших коллег, которые большинство воспринимает как развлечение, заставляют его поглядывать на часы; по его мнению, работа – дело серьезное, а шутить лучше в обеденный перерыв.

Так что, несмотря на виновато опущенные плечи, на мягкие манеры и на склонность грезить наяву, нерешительностью Пероун вовсе не отличается, и ему не свойственно замирать посреди комнаты так, как замер он сейчас, не зная, будить ли Розалинд. Спрашивается, зачем? Смотреть уже не на что. Чисто эгоистический импульс. Будильник прозвонит в половине седьмого, а выслушав его рассказ, заснуть она уже не сможет. В конце концов, она все равно когда-нибудь узнает. А день ей сегодня предстоит нелегкий. Только теперь, стоя в темноте перед закрытыми ставнями, Пероун осознает всю силу своего смятения. Мысли разбегаются – ни одну не удастся додумать до конца. Почему-то он чувствует себя виноватым и беспомощным. Казалось бы, эти чувства несовместимы – но не совсем, где-то они соприкасаются, оборачиваются разными сторонами одного и того же, и ему хотелось бы понять, где и как это происходит. Виновен в том, что беспомощен. Беспомощно виновен. Тут он теряет мысль и снова вспоминает о телефоне. Что скажет он себе днем? Может, пожалеет, что не позвонил в службу спасения? Будет ли при свете дня так же очевидно, что помочь было уже нельзя? И все же он преступник – потому что, стоя у окна и кутаясь в шерстяной халат, смотрел со стороны, как гибнут люди. Да, надо было позвонить – хотя бы для того, чтобы услышать чужой голос, чтобы соразмерить свою реакцию с реакцией незнакомца.

Вот зачем ему хочется разбудить ее – не просто чтобы сообщить новость: дело в том, что он растерян, он в смятении, не может собраться с мыслями. Ему нужно вцепиться в точные детали увиденного, расположить их по порядку под ее пристальным взглядом, в свете ее приземленного, юридического ума. Нужно прикосновение ее рук, маленьких, гладких, всегда прохладных. В последний раз они занимались любовью пять дней назад, в понедельник утром, перед шестичасовыми новостями; за окном бушевала гроза, из-за двери ванной сочился тусклый свет; тогда-то им и удалось, как они часто говорят в шутку, вырвать из пасти работы двадцать минут. Таков средний возраст – иногда кажется, что, кроме работы, ничего и нет. Он должен быть в больнице не позже десяти, возвращается порой в три часа ночи, а в восемь вставать – и снова в больницу. Работа Розалинд состоит из серии медленных крещендо и внезапных бравурных

финалов – когда ей удастся уберечь свою газету от судебного иска или выиграть процесс. Бывают дни, даже недели, когда работа заполняет каждый час; они живут по ней, словно по лунному календарю. И порой кажется, что, не будь работы, Генри и Розалинд Пероун не существовало бы вовсе.

Генри не может пренебрегать срочными вызовами, как не может отрицать и эгоистическое наслаждение своим мастерством, и тот душевный подъем, все еще свежий и значительный, когда, выйдя из операционной, он является родственникам больного – как бог, как ангел, несущий добрую весть: жизнь, а не смерть. Розалинд, быть может, испытывает нечто подобное у дверей суда, когда могущественный истец сникает под неотразимым напором ее аргументов или, реже, – на заседании, когда суд решает дело в ее пользу и удостоверяет законом ее правоту. Раз в неделю, обычно в воскресенье вечером, Генри и Розалинд кладут свои записные книжки рядом, словно спаривающихся зверушек, как будто какой-то инфракрасный луч может перенести их записи из одного ежедневника в другой. Воруя время для любви, они никогда не выключают телефон. По какой-то извращенной логике, часто он звонит, стоит им начать. Розалинд вызывают не реже, чем Генри. Если ему приходится вскакивать, торопливо одеваться и бежать прочь из комнаты, порой с проклятьем возвращаясь за ключами или за мелочью, то на прощание он бросает долгий взгляд назад и спешит к больнице – десять минут быстрым шагом – наедине со своей ношей, с угасающими отзвуками желания. Но, едва пройдя сквозь двойные вращающиеся двери, едва ступив на вытертый клетчатый линолеум в приемной «неотложки», едва взлетев в лифте на третий этаж, где расположены операционные, и в умывальной, с мылом в руках, слушая торопливый отчет ординатора, он забывает обо всем; последние отзвуки желания сами собой покидают его. Ни тяжести, ни сожаления. Ничто не мешает ему внести еще один случай в свой послужной список – более трехсот пациентов в год. Некоторым помочь не удастся, иногда улучшения незначительны, но большинство пациентов поправляются, ко многим даже возвращается работоспособность – а что такое работоспособность, если не главный признак здоровья?

Вот почему он не станет будить Розалинд – из-за работы. К десяти ей ехать в Верховный суд на внеочередное слушание. Ее газете не разрешили публиковать подробности о запрете распространения информации, наложенном на другую газету. Могущественная партия, добившаяся первого запрета, представила судье убедительные аргументы в пользу того, что сообщать о нем вообще не следовало. Речь идет ни больше ни меньше как о свободе прессы; только вчера на исходе дня Розалинд удалось добиться нового слушания. Теперь перед

заседанием ей предстоят брифинги в кулуарах, а затем – быть может, при некотором везении – удастся перекинуться в коридоре парой слов с ответчиком и выяснить кое-какие подробности. А потом совещание с издателем и редакторами, где она изложит возможные варианты действий. Вчера она, должно быть, вернулась глубокой ночью, уже после того, как Генри провалился в сон, так и не успев поужинать. Наверное, попила чаю на кухне, листая бумаги. И потом, наверное, долго не могла заснуть.

Конечно, это неправильно, но все же ему отчаянно хочется с ней поговорить. Генри останавливается в изножье кровати, глядя на очертания Розалинд под одеялом. Она спит как ребенок, поджав колени, и в темноте на огромной кровати кажется совсем маленькой. Он прислушивается к ее дыханию: еле слышный вдох, чуть погромче – выдох. Вот она тихонько причмокивает во сне. Много лет назад он влюбился в нее, увидев в больничной палате, среди ужаса и горя. Едва ли она тогда отличала его от остальных – просто еще один «белый халат», снимающий стежки с внутренней поверхности ее верхней губы. Три месяца прошло, прежде чем он впервые поцеловал эти губы. Хотя к этому времени знал о ней – точнее, видел – больше всякого возможного и невозможного любовника.

Он подходит ближе, наклоняется и целует ее в теплый затылок. Затем выходит из комнаты, тихо прикрывает за собой дверь и спускается на кухню послушать радио.

Общее мнение и современной генетики, и современной педагогики: родители не могут – или почти не могут – повлиять на характеры своих детей. Никогда не знаешь, кто у тебя получится. Учеба, здоровье, культура речи и хорошие манеры – все это в родительской власти. Но что за человек будет жить рядом с тобой, зависит от того, какие карты выпадут из двух колод, как они перетасуются, снимутся и лягут в миг зачатия. Добряк или злюка, щедрая душа или скупердяй, весельчак или зануда, оптимист или невротик (а также все, что между этими крайностями) – все определяют неповторимые качества сперматозоида и яйцеклетки. Звучит довольно обидно для родителей, особенно если вспомнить, сколько сил они угробили на воспитание отпрыска. Но с другой стороны, это позволяет расслабиться. В сущности, родители сами понимают эту истину на практике, родив второго ребенка: при более или менее одинаковых исходных данных на свет появляются два совершенно разных человека. 3.55 утра, мрачноватая кухня в подвальном этаже: в приятной полумгле, освещенный,

словно на сцене, единственной настенной лампой, откинувшись на стуле и водрузив на край стола ноги в черных ботинках из мягкой кожи (купленных, между прочим, на собственные деньги), отдыхает от трудов праведных Тео Пероун, восемнадцати лет, давно завершивший свое образование. Трудно представить себе двух более непохожих друг на друга людей, чем он и его сестра Дейзи. В одной руке у Тео стакан с водой, другой он придерживает музыкальный журнал. Проклепанный кожаный жилет валяется на полу. К буфету прислонена гитара в чехле. На чехле уже немало багажных наклеек: Триест, Окленд, Гамбург, Валь-д'Изер – и есть место для новых. Из переносного стереоплеера на полке, над сборниками кулинарных рецептов, тихо льется журчание круглосуточной поп-станции.

Порой Пероун спрашивает себя, мог ли в юности хотя бы предположить, что однажды станет отцом блюзового гитариста. Сам-то он без малейших колебаний шел по накатанной дорожке: школа – медицинский институт – стажировка – практика: Лондон, Саузенд-он-Си, Ньюкасл, больница Белль-вью в Нью-Йорке и снова Лондон. Как они с Розалинд, оба исполнительные и законопослушные, сумели дать жизнь такому свободолюбцу? Парню, который, как назло, одевается в стиле богемы пятидесятых, книг не читает, школу бросил, валяется в постели до полудня, интересуется только блюзовой традицией – Дельта, Чикаго, Миссисипи, – изучая ее с таким рвением, словно надеется открыть в ней ключ к тайнам бытия, и беспокоится лишь об успехе своей группы New Blue Rider? Лицом он пошел в мать, только черты покрупнее; глаза материнские по форме, но не по цвету – не зеленые, а темно-карие, с легкой экзотической раскосостью; о таких говорят: «миндалевидные». И взгляд как у матери – открытый, доброжелательный. А фигурой, долговязой и жилистой, Тео пошел в отца, хотя выглядит, пожалуй, более сильным и подтянутым, чем Генри в его возрасте. Руки у него тоже отцовские, что для его дела немаловажно. Знатоки и любители британского блюза возлагают на Тео большие надежды, говорят о «зрелости» его стиля и что в один прекрасный день он встанет наравне с богами – богами британского блюза, разумеется: Алексисом Корнером, Джоном Майаллом, Эриком Клэптоном. Кто-то где-то написал однажды, что Тео Пероун играет как ангел.

Отец, разумеется, согласен, хоть и не без оговорок. Блюз ему нравится, даже очень; собственно говоря, именно он и показал девятилетнему Тео, как играть на гитаре (далее обучением внука занялся дедушка). Но всю жизнь посвятить трем аккордам и двенадцати ладам? Может, это и есть микрокосм, в котором заключен целый мир? Как расписная тарелка Споуда. Или одна-единственная клетка. Или (как говорит Дейзи) роман Джейн Остин. Когда и слушатель, и

исполнитель прекрасно знает правила игры, вся суть – в отклонениях и неожиданных поворотах. В одной песчинке – целый мир. То же самое (так убеждает себя Пероун) испытывает он всякий раз, когда оперирует аневризму: неизменность темы – и бесконечное разнообразие вариаций.

В игре Тео, в легкости и властности, с какой он движется по давно изведанному пути, в самом деле есть что-то такое, что оживляет для Генри необъяснимое обаяние блюза. Тео – из тех гитаристов, что играют словно в трансе, не двигаясь, даже не глядя себе на руки. Лишь иногда он позволяет себе легкий задумчивый кивок. Или, окончив композицию, встряхивает головой, словно сообщает: «Я снова с вами». На сцену он выходит так же, как вступает в беседу, – тихим, осторожным шагом, защищая свое «я» щитом вежливого дружелюбия. Если ему случится увидеть родителей в толпе, он на секунду отпускает гриф и приветствует их быстрым взмахом левой руки, коротким и застенчивым, словно не хочет, чтобы остальные заметили. При этом Генри и Розалинд вспоминают одно и то же: на рождественской елке в детском саду, возле картонных яслей, серьезный пятилетний Иосиф в чалме из полотенца, держась за руку перепуганной Марии, заметив наконец во втором ряду своих родителей, так же робко, украдкой им машет.

Эта сдержанная, холодная манера подходит блюзу, по крайней мере в интерпретации Тео. В начале импровизации на тему размеренного стандарта типа «Sweet Home Chicago», с его унылым пунктирным ритмом – Тео устал, по его словам, от всей этой блюзовой классики, – он, внезапно стряхнув усталость, упругой поступью плотоядно лоснящегося хищника вырывается из засады на просторы октав нижнего регистра. Постепенно крадется все выше – напряжение нарастает. Затем – кинжальная синкопа перед возвращением к теме – внезапно уменьшенный аккорд, намеренно затянутая ассонансная нота, умышленно пониженная квинта, искаженная чувственными обертонами септима. И вот он – мимолетный, берущий за душу диссонанс. Чувство ритма у Тео превосходит все ожидания – вплоть до россыпей триолей поверх скоплений половинных и четвертых долей. Его пассажи – в них стать бибоба и акцент бибоба. Это какой-то гипноз, соблазн без усилий. Генри никому об этом не рассказывает, даже Розалинд, но порой, когда они с ней слушают игру Тео в каком-нибудь баре Уэст-Энда, в груди у него становится тесно и дыхание перехватывает – то ли от музыки, то ли от гордости за сына. Нет, блюз, по своей сердечной сути, вовсе не печаль, а некая странная, почти телесно испытываемая радость.

Музыка Тео потрясает его еще и потому, что несет в себе упрек, напоминание о глубоко запрятанном недовольстве собственной жизнью, о том, чего ему самому не хватает. Это чувство не проходит и после концерта, когда ведущий нейрохирург, попрощавшись с сыном-музыкантом и его друзьями и выйдя на улицу, решает вернуться домой пешком, поразмышлять. В его жизни нет ничего от этой спонтанности, этой внутренней свободы. Музыка вызывает в нем непонятную тоску, грусть, чувства, которых сам он не приемлет, но песни все об этом. Может, в жизни есть еще что-то, кроме спасения чужих жизней... Суровый распорядок врачебного труда, высокая ответственность, вдобавок ранняя женитьба – и на большей части всего этого тусклый налет усталости; он еще достаточно молод, чтобы мечтать, и достаточно зрел, чтобы понимать: круг возможностей с каждым днем сужается. Неужели ему суждено стать одним из тех мужчин, тех современных молодящихся кретинов, что часами торчат у витрин, разглядывая саксофоны и мотоциклы, или заводят любовниц, годящихся им в дочери? Дорогую машину он уже купил. Музыка Тео наводит его отца на невеселые мысли. Но в конце концов, это же блюз.

В знак приветствия Тео опускает свой стул на все четыре ножки и машет рукой. Показывать удивление не в его правилах.

– Что, не спится?

– Я только что видел горящий самолет. Летел в Хитроу.

– Да ты что?

Генри подходит к плееру, чтобы найти новости, но Тео берет со стола пульт и включает маленький телевизор, который они держат на кухне, над камином, как раз для таких чрезвычайных случаев. Терпеливо ждут, пока не кончится претенциозное вступление к четырехчасовым новостям: пульсирующая светомузыка, яркие пятна, спирали, сияющая компьютерная графика – все здесь должно наводить на мысль о скорости, глобальности и высоких технологиях. Заставка окончена, и диктор с квадратной челюстью, должно быть ровесник Пероуна, принимается перечислять главные события часа. Сразу становится понятно: горящий самолет еще не попал в планетарную матрицу. Пока он – событие чисто субъективное. Однако отец и сын продолжают слушать список.

«Ханс Бликс – причина войны?» – вопрошает диктор, и в голосе его слышатся раскаты тамтамов. На экране – французский министр иностранных дел, мсье де Виллепен, выступает в ООН. Слышатся аплодисменты. «“Да”, – отвечают США и Великобритания. “Нет”, – отвечает большинство».

Далее следуют приготовления к антивоенным демонстрациям, которые пройдут сегодня в Лондоне и во многих других городах мира, и чемпионат по теннису во Флориде, куда прорвалась женщина с кухонным ножом...

Генри выключает телевизор и спрашивает:

– Как насчет кофе?

И пока Тео послушно встает и варит кофе, Генри рассказывает ему все, что видел, – главную новость часа. При этом обнаруживает, что, как ни странно, и рассказывать-то нечего: горящий самолет появился в поле зрения, пролетел слева направо, мимо деревьев, мимо почтамта, и скрылся на западе. А все остальное словами не выскажешь.

– Ага... хм... а что ты делал у окна?

– Я же сказал. Проснулся и не мог заснуть.

– Ну и совпадение.

– Вот именно, – твердо отвечает Генри.

Их взгляды встречаются – здесь может зародиться спор, – но в следующий миг Тео отворачивается и пожимает плечами. Сестра его, напротив, любит поспорить. Эта страсть у них с отцом общая, Розалинд и Тео считают ее чудачеством. В подростковом хаосе спальни Тео, среди музыкальных журналов, грязных рубашек и носков и пустых бутылок, валяется несколько едва пролистанных книг об НЛО и их загадочных пилотах, которых сейчас предпочитают расплывчато называть «пришельцами». Насколько понимает Генри, взгляды Тео сводятся к тому, что все в мире как-то таинственно и интересно связано и что власти (прежде всего правительство США), контактирующие с внеземным разумом, прячут от всего остального мира это

удивительное знание, к которому современная наука, нудная и безнадежно приземленная, даже подступиться не способна. Само это знание разбросано по разным журнальчикам, которые Тео тоже покупает, но почти не открывает. Его любознательность, пусть и поверхностная, уведена на неверный путь изготовителями эзотерической стряпни. Но что за беда, если он играет на гитаре как ангел и верит хотя бы в это свое таинственное знание, и, в конце концов, у него еще полно времени, чтобы передумать?

Этот красивый парень, с девичьими ресницами, с огромными, бархатными, чуть раскосыми глазами, считает споры пустой тратой времени. Взгляды их встречаются, и он отводит глаза, охраняя свои мысли. Вселенная показала его отцу знак – но он предпочел не всматриваться. Что же тут можно сделать?

Чтобы вернуть сына на землю, Генри говорит:

– Видимо, разбился он через несколько минут после того, как исчез из виду. Как думаешь, когда это попадет в новости?

Тео – он стоит у стойки, наливая кофе, – оборачивается и задумчиво трогает нижнюю губу, полную и чувственную. В последнее время, должно быть, ему не так уж часто случалось целоваться. Со своей последней девушкой он расстался так же, как и с предыдущими: тихо, без сцен, даже, кажется, почти без разговоров. Минимализм в словах и жестах, в приветствиях, похвалах, прощаниях, даже в благодарности – таков современный этикет. Кажется, не видя лица собеседника, молодые люди чувствуют себя свободнее: Тео может висеть на телефоне часа три без перерыва.

Отвечает он, словно успокаивает нетерпеливого ребенка, с самоуверенностью гражданина нового электронного века:

– Будет в следующих новостях, папа. Через полчаса.

Ничего удивительного. В одном халате – униформе больных и стариков, с всклокоченными редееющими волосами, с голосом, от пережитого потрясения потерявшим ровную врачевную баритональность, Генри в самом деле напрашивается на утешение. Вот так он и начинается, долгий путь, в конце которого ты становишься ребенком собственных детей. Того и гляди, услышишь: «Папа, если опять начнешь реветь – отправишься домой!»

Тео придвигает к отцу чашку кофе, присаживается сам. Себе он не наливает – вместо этого открывает новую полулитровую бутылку минеральной воды. Чистота юности. Или похмелье? Давно прошли времена, когда Генри чувствовал себя вправе задать вопрос или высказать свое мнение.

– Как ты думаешь, это террористы? – спрашивает Тео.

– Может быть.

Сентябрьская трагедия стала для Тео первым международным событием – помогла осознать, что существует нечто помимо семьи, друзей и музыки, способное повлиять на его жизнь. Шестнадцать лет (столько ему тогда было) – пожалуй, поздновато для подобного открытия. Пероун, родившийся за год до Суэцкого кризиса, не помнит ни ракет на Кубе, ни Берлинской стены, ни убийства Кеннеди, но помнит, как рыдал над погибшими в Аберфане в шестьдесят шестом: сто шестнадцать маленьких мальчиков и девочек, таких же, как он, молились вместе на школьном собрании, готовясь разойтись на каникулы – а вместо каникул оказались погребены под слоем грязи [3 - 21 октября 1966 г. обвал террикона на окраине г. Аберфан в Уэльсе, вызвавший оползень, похоронил под собой 145 человек, среди которых было 116 детей.]. Тогда-то он заподозрил, что доброго любящего Бога, о котором рассказывала учительница в школе, может быть, и нет. В дальнейшем новости из разных уголков мира только подтверждали это предположение. Но для безбожного поколения Тео такой вопрос даже не стоит. В суперсовременной, сияющей стеклом и сталью школе никто никогда не просил Тео помолиться или спеть гимн. Ему просто не в чем сомневаться. Рушащиеся башни на телеэкране поразили его; но он быстро с этим сжился. В газетах он просматривает новости так же, как листает музыкальный журнал, его интересуют лишь достижения. Международный терроризм, кордоны безопасности, подготовка к войне – все это вещи неизменные, как погода, а значит, и думать о них нечего. Таков мир, где взрослеет Тео Пероун.

Состояние мира не беспокоит его так, как отца, просматривающего те же газеты с каким-то болезненным вниманием. Читая о войсках, переброшенных в Залив, о танках в Хитроу, о штурме мечети в Финсбери-Парке, о ячейках террористов по всей стране, о бен Ладене, обещающем устроить в Лондоне «атаки смертников», Пероун некоторое время цеплялся за мысль, что все это – случайное отклонение, что скоро мир успокоится и все станет по-прежнему; что для любой проблемы существует решение, ведь разум – могущественнейшее орудие, и противостоять

ему невозможно; или что этот кризис постепенно рассосется сам собой, как многие до него, уйдет дорогой Фолклендов и Боснии, Биафры[4 - Биафра – самоотделившаяся республика на юго-востоке Нигерии, просуществовала очень короткое время (с 1967 по 1970 г.)] и Чернобыля. Но в последнее время такие мысли кажутся ему чересчур оптимистичными. Сам того не желая, он приспособливается – так же, как приспособляются к внезапной слепоте или параличу его пациенты. Возврата нет. Девяностые кажутся сейчас невинным десятилетием: можно ли было представить себе такое еще пять лет назад? Теперь мы дышим иным воздухом. Он купил книгу Фреда Холлидея и прочел начальные строки, звучащие и приговором, и проклятием: атака на Нью-Йорк – предвестие глобального кризиса, разрешение которого, если повезет, займет всего лишь какую-то сотню лет. Если повезет. Все оставшиеся Генри годы. Вся жизнь Тео и Дейзи и их детей. Столетняя война.

Тео по неопытности заварил кофе раза в три крепче, чем следовало. Но Генри, любящий отец, пьет все до дна. Теперь он готов к наступающему дню.

– Ты не видел, что за самолет? – спрашивает Тео.

– Нет. Слишком далеко было, и слишком темно.

– Просто сегодня утром Чес прилетает из Нью-Йорка.

Чес – саксофонист из группы Тео, великан с сияющей улыбкой, родом с острова Сент-Киттс, ездил в Нью-Йорк на неделю, на мастер-класс под номинальным руководством Брэнфорда Марсалиса. Эти ребята знают подход к знаменитостям. В Окленде Тео слушал сам Рай Кудер. В спальне у Тео наклеена на зеркало пивная этикетка с дружеским пожеланием от маэстро. Если приглядеться, на синем фоне, под пивными пятнами, можно различить подпись и слова: «Так держать, малыш!»

– Думаю, беспокоиться не о чем. Утренние рейсы прибывают не раньше половины пятого.

– Да, наверное. – И, помолчав: – Думаешь, это джихадисты?

У Пероуна вдруг начинает кружиться голова, и кажется, что лицо сына куда-то уплывает. В первый раз он слышит от Тео это слово. Правильное ли? Звучит оно

нестрашно, почти безвредно, особенно когда произносится легким тенором сына. К тому, что Тео говорит взрослым мужским голосом, Генри, кажется, так и не привык, хотя голос у него начал ломаться лет пять назад. В устах Тео – он как-то особенно мягко произносит это «дж» – слово звучит невинно, словно звук восточного струнного инструмента, взятого в группу ради экзотики. В идеальном исламском государстве, при строгих законах шариата, хирургам место найдется. А вот блюзовым гитаристам придется менять профессию. Но может быть, такого государства никто и не требует. Может быть, требований нет совсем. Только ненависть, в чистом виде. Невольно чувствуешь ностальгию по ИРА. Тогда ты, по крайней мере, знал, что тебя разрывают на части ради объединения Ирландии. Которое все равно близится, стараниями Иана Пейсли. Еще один кризис, длившийся тридцать лет, уходит в прошлое. Но теперь не тот случай. Исламисты-радикалы – не нигилисты: они мечтают об идеальном обществе, исламском. Они носители системы ценностей, о которой Пероун имеет лишь общее представление: их утопическая цель оправдывает любые средства, любую жестокость. Ради всеобщего вечного счастья не грех и вырезать миллион-другой...

– Ничего я не думаю, – отвечает наконец Пероун. – Поздно думать. Подождем новостей.

Тео вздыхает с облегчением. Как послушный сын, он готов поспорить с отцом, если без этого не обойтись, но вообще-то в четыре двадцать утра предпочитает молчать. Несколько минут оба не произносят ни слова, и молчание их не смущает. В последние месяцы они часто садятся вместе за стол и разговаривают обо всем на свете. Раньше такого не было. Даже странно: где же подростковый бунт, где хлопанье дверью, молчаливая ярость, без которой, как уверяют, немислим переход к взрослению? Неужели все ушло в блюз? Говорят они, конечно, об Ираке; затем – об Америке, о власти вообще, о том, почему Европа не доверяет США, о мусульманах, их положении и претензиях, об Израиле и Палестине, о диктаторах, о демократии и о том, что больше всего интересуется мальчишек, больших и малых: о ядерном оружии, спутниковой фотосъемке, лазерах, нанотехнологии. За кухонным столом – меню двадцать первого века: ну, что у нас сегодня на десерт? В прошлое воскресенье за ужином Тео изрек афоризм: «Важнее всего не думать о важном». Что это значит, объяснил так: «Знаешь, когда думаешь о больших важных вещах – ну там, о мировой политике, глобальном потеплении, голоде в бедных странах и так далее, – все выглядит просто ужасно, и понимаешь, что дальше будет только хуже, так что надеяться не на что. А когда думаешь о чем-нибудь маленьком и неважном – скажем, о девушке, с которой вчера познакомился, о новой песне, которую мы сейчас

репетируем с Чесом, о том, что через месяц поедешь кататься на сноуборде, – понимаешь, что все замечательно. Так что это будет мой девиз: думай о неважном».

Вспомнив об этом сейчас, за несколько минут до новостей, Генри спрашивает:

– Как концерт?

– В основном были старые вещи. Отыграли почти все номера Джимми Рида. Ну, знаешь... – И он напевает несколько тактов; левая рука его при этом сжимается и разжимается, словно перебирает невидимые лады. – Народ с ума сходил. Не хотели слышать ничего другого. Немного обидно – мы вообще-то не для этого все затевали. – Однако он широко улыбается при этом воспоминании.

Настало время новостей. Снова всполохи, цветные спирали, мощные электронные аккорды и бессонный диктор с квадратной челюстью. А вот наконец и самолет: стоит на взлетной полосе, целый и невредимый, вокруг пожарные машины разбрызгивают пену, солдаты, полиция, мигалки, машины «скорой помощи» стоят наготове. Перед тем как перейти к рассказу, диктор воздаст должное оперативной работе экстренных служб. Только после этого все объясняется. Самолет грузовой, российский «Туполев», летел из Риги в Бирмингем. Когда он пролетал к востоку от Лондона, загорелся один из моторов. Пилоты радиовали на аэродром, запросили разрешения на посадку и попытались перекрыть доступ топлива к горящему мотору. Диспетчер провел их над Темзой и посадил в Хитроу. Посадка прошла нормально, оба пилота не пострадали. Какой был груз, не уточняется, но часть его – по-видимому, почта – уничтожена. Вторым по важности сообщением были антивоенные протесты, которые начнутся через несколько часов. Ханс Бликс отступил на третье место.

Кот Шредингера все-таки выжил.

Тео подбирает с пола куртку и встает. Двигается он скованно, словно в смущении.

– Вот видишь, – говорит он, – ничего такого страшного.

– Да, все обошлось, – отвечает Генри.

Ему вдруг хочется обнять сына – не только от облегчения, но и оттого, что Тео в конце концов получился таким славным парнем. Даже преждевременное прощание со школой идет ему в плюс: он смело шагнул туда, куда не осмелились заглянуть его родители, в неполных восемнадцать взял на себя ответственность за собственную жизнь. Но теперь они с Тео позволяют себе обняться, лишь встретившись после недельной разлуки. В детстве он любил ласки – и даже в тринадцать лет не стеснялся на улице держать отца за руку. Но этого уже не вернуть. Только Дейзи, когда она приезжает домой, имеет право на поцелуй перед сном.

Тео идет к дверям, и отец спрашивает:

– Пойдешь сегодня на этот марш?

– Мысленно поддержу. Мне еще песню учить.

– Тогда спокойной ночи, – говорит Генри.

– Ага. И тебе.

Открывая дверь, Тео говорит: «Приятного сна»; несколько секунд спустя, уже на лестнице: «Увидимся утром»; а еще через несколько секунд, уже с верхней площадки, доносится его мягкий голос с вопросительной интонацией: «Доброй ночи?» На каждую реплику отец отвечает – и ждет следующей. Тео всегда прощается так – по четыре, даже по пять раз, из какого-то суеверного желания оставить за собой последнее слово. Словно медленно-медленно разжимает сжатую ладонь.

Пероун всегда подозревал, что кофе может оказывать обратное действие. Похоже, так и случилось: не только нынешняя ночь, но, кажется, и вся неделя, и много-много предыдущих недель наваливаются на него, когда он тяжело поднимается из-за стола и идет выключать свет. По ступенькам поднимается с трудом: колени дрожат, и приходится держаться за перила. Вот так он будет чувствовать себя после семидесяти. Генри проходит через холл, прохлада каменных плит пола под босыми ногами чуть-чуть бодрит. Прежде чем подняться на второй этаж, останавливается перед двойными входными дверями. Они выходят прямо на тротуар, на улицу, примыкающую к площади; усталого

Пероуна двери вдруг поражают своей неприступностью: три массивных бэнхемских замка, два чугунных засова, старые, как сам дом, две стальные цепочки, глазок, прикрытый медной пластинкой, коробочка, напичканная электроникой, – домофон, красная кнопка тревоги, сигнализация с мягко мерцающими во тьме цифрами. Сколько рубежей обороны, сколько приготовлений к битве: берегитесь, обитатели дома, нищие, грабители и наркоманы идут на вас войной!

Снова во тьме, стоя у кровати, он сбрасывает халат на пол и по холодной простыне подвигается ближе к жене. Она лежит на левом боку, спиной к нему, по-прежнему поджав ноги. Он прижимается к ней, обнимает ее за талию и притягивает к себе. Он целует ее в затылок, и она что-то бормочет сквозь сон – что-то ласковое, но нечленораздельное, как будто слово – тяжелый камень и его не повернуть. Восхождение на три лестничных пролета взбудрило Пе-роуна: глаза его широко открыты, незначительное повышение кровяного давления вызвало местное возбуждение в сетчатке, и перед ним, как по черной бескрайней степи, плывут пурпурные и ярко-зеленые туманные пятна, – плывут, но, стоит ему сосредоточить на них внимание, рассеиваются, раздвигаются, уходят на периферию, подобно театральному занавесу, открывая простор для новых сцен, новых мыслей. Думать ему ни о чем не хочется, но спать расхотелось. И он увидел предстоящий день – как тропинку в степи: после матча в сквош, который за него уже проиграла бессонница, предстоит поездка к матери. Он не может вспомнить, какое у нее лицо теперь. Почему-то представляет себе чемпионат графства по плаванию – сорокалетней давности, он видел только фотографии – и купальную шапочку в цветочек, в которой мама похожа на тюленя. Генри гордился матерью, хотя жить с ней было нелегко. Зимой она таскала его в шумные муниципальные бассейны, где на бетонном полу раздевалок в холодных лужицах плавали оторванные лейкопластыри в розовых и сиреневых разводах; в самом начале лета возила его с собой на мрачные зеленые озера или к серому Северному морю. «Это же другая стихия!» – говорила она так, словно при одной мысли об этом Генри должен запрыгать от радости. Но он-то вовсе не желал никаких других стихий! Больше всего угнетал его сам момент погружения, острое и болезненное ощущение холода, поднимающееся все выше по втянутому, покрытому пупырышками веснушчатому животу, когда он послушно, на цыпочках, заходил в воду. Мать бросалась в волны и надеялась, что сын последует ее примеру. Ежедневное погружение в иную стихию, ежедневное чудо – вот чего она хотела и для себя, и для него. Что ж, теперь он с этим отлично справляется, вот только «иная стихия» уже не вода.

Воздух в спальне свеж и прохладен; Пероун чувствует легкое возбуждение и подвигается ближе к Розалинд. Вдалеке, на Юстон-роуд, тихонько шелестят первые автомобили – спешат на работу те бедолаги, которым надо быть на службе в субботу в шесть утра. Обычно эта мысль действует на него усыпляюще – но не сейчас. Сейчас он думает о сексе. Если бы мир был устроен так, что все его желания сразу бы исполнялись, он бы сейчас занялся любовью с Розалинд – без промедлений, без объяснений, с жаркой и любящей Розалинд, потом он бы заснул спокойным и чистым сном. Но даже древним царям, даже античным богам не удавалось всегда получать то, что хочется. Только ребенку – нет, только младенцу – желание и исполнение желания даются одновременно; быть может, поэтому в тиранах столько ребячливости. Они тянутся к тому, чего получить больше не могут, и, обнаружив тщетность своих желаний, раздражаются убийственными истериками. Взять хотя бы Саддама: он ведь не похож на громилу. Нет, он выглядит как мальчишка-переросток, с угрюмой физиономией вечного двоечника, и в темных глазах его – недоумение оттого, что не все почему-то ему подчиняется. Абсолютная власть и наслаждение ею вечно ускользают, дразня его своей недосыгаемостью. Можно бросить в пыточную камеру непокорного генерала, можно пристрелить подозрительного родственника – но это не приблизит тебя к давно утраченному младенческому счастью.

Пероун устраивается поудобнее и утыкается носом в затылок Розалинд, вдыхая легкий запах душистого мыла, шампуня и теплой кожи. Какое же это счастье – когда любишь собственную жену. Но как легко его мысли скользнули от эроса к Саддаму, а виной всему раздерганность, совместное влияние волнений и перегрузок. В предутренние бессонные часы мы кутаемся в собственные страхи. Должно быть, когда-то это служило защитной реакцией: пережив возможные опасности и отработав обходные пути во сне, мы избегали гибели наяву. Готовность к худшему – наследие естественного отбора в полном опасностей мире. За последний час Пероун столько ужасов мысленно пережил, а оказалось, все это игра ума. И его не утешает то, что любой на его месте, стоя там же у окна, пришел бы к аналогичным выводам. Непонимание – общая беда людей. Можно ли после этого доверять себе? Теперь он ясно видит детали, которые, поддавшись страху, не стал принимать в расчет: самолет летел по обычному курсу, снижался медленно, равномерно сбрасывая скорость, и никакие многолюдные здания не стояли у него на пути – словом, нетрудно было догадаться, что все под контролем. Он говорил себе, что есть две возможности: мертвый кот и живой кот. Но сам проголосовал за мертвого кота, хотя должен был понять, почувствовать: это обычное происшествие. Не катастрофическое.

Почувствовав его во сне, Розалинд поводит плечами, прижимается к нему теснее, закидывает ногу ему на ногу. Возбуждение растет, и Генри чуть отодвигается – его эрекции становится тесно. Но Розалинд по-прежнему спит, дыша глубоко и ровно. Генри лежит неподвижно в ожидании сна. По современным – да что там, по любым стандартам он просто извращенец: никогда ему не надоедает заниматься любовью с собственной женой, никогда его не соблазняли те возможности, что щедро предоставляет медицинская иерархия. Думая о сексе, он думает только о ней. О ее глазах, ее груди, ее языке, ее щедрости. Кто еще так изучит его тело и душу? Кто еще полюбит его так беззаботно и весело, со всеми его недостатками? У кого еще столько общих с ним воспоминаний? Невозможно за одну жизнь дважды встретить женщину, с которой тебе так легко, которой ты способен подарить блаженство. По какой-то странности характера знакомые пути в сексе привлекают его больше нехоженых троп. Он даже подозревает в себе какой-то порок – то ли недостаток воображения, то ли тайную робость. Сколько друзей бросаются очертя голову в интрижки с молодыми любовницами, сколько крепких с виду браков заканчиваются вспышками взаимных упреков! Пероун смотрит на все это со смущением, опасаясь, что ему недостает какой-то мужской жизненной силы, здоровой и смелой тяги к экспериментам. Где его любопытство? Что с ним не так? Но он ничего не может с собой поделать. На случайные вопросительные взгляды привлекательных женщин он отвечает вежливо-безразличной улыбкой. Можно считать такую верность добродетелью, можно – упрямством, но на самом деле у него просто нет выбора. Так уж он устроен: ему необходимо безраздельное обладание, повторение, постоянство.

Розалинд свела с ним беда: вот у нее действительно случилась жизненная катастрофа. Впервые он увидел ее со спины, в женской неврологической палате, в жаркий августовский день. Его сразу поразила огромная копна длинных, до талии, золотисто-каштановых волос и при этом маленькая хрупкая фигурка. Сперва ему показалось, что перед ним ребенок. Она, еще одетая, сидела на койке и разговаривала с ординатором, и по голосу было понятно, что ей очень страшно. Часть истории Генри услышал тогда же, остальное узнал из медицинской карты. Она никогда ничем не болела, только в последний год время от времени бывали головные боли. Она коснулась головы, чтобы показать, где болело, и он поразился тому, какие у нее маленькие руки. Лицо – нежный овал, и огромные зеленые глаза. Еще месячные стали нерегулярными, и иногда из груди выделялась водянистая жидкость. А сегодня, когда она сидела в университетской библиотеке, читала о гражданских правонарушениях – она специализируется в этой области, – вдруг, рассказывала она, перед глазами появился какой-то туман. Все гуще и гуще. Через несколько минут она уже не

различала цифр на наручных часах. Она бросила книги, схватила сумку и поспешила вниз по лестнице, крепко держась за перила. Уже у дверей пункта неотложной помощи мир вокруг начал темнеть. В первый миг она подумала о солнечном затмении и удивилась, что никто не смотрит на небо. Из неотложки ее направили прямо сюда. Сейчас она с трудом различала полосы на рубашке ординатора, а когда он поднял руку, не смогла сосчитать пальцы. – Пожалуйста, – говорила она тихим, сдавленным от ужаса голосом, – я не хочу ослепнуть. Пожалуйста, помогите мне.

Возможно ли, что эти огромные прекрасные глаза не смогут больше видеть? Когда Генри отправили искать хирурга, которого никак не удавалось вызвать по пейджеру, он ощутил мгновенный укол совершенно непрофессионального чувства: ему не хотелось уходить и оставлять это чудное создание наедине с лощеным красавчиком ординатором. Он, Пероун, хотел спасти ее сам, хоть и очень смутно представлял, что с ней произошло и как этому помочь.

Хирург, мистер Уэйли, оказался на важном совещании. Это был огромный, внушительного вида человек в неизменном костюме-тройке в полоску, с карманными часами и пурпурным шелковым носовым платком, выглядывающим из нагрудного кармана. Пероун не раз видел, как в серых больничных коридорах мелькает яркое пятно докторского платка, и не раз слышал, как стажеры передразнивают гроыхающий докторский бас. Генри попросил секретаршу зайти в кабинет и сказать мистеру Уэйли, что он нужен срочно. Пока ждал, репетировал в уме, что ему скажет. Надо подобрать такие слова, чтобы он сразу поверил: дело серьезное. Появился хмурый Уэйли, и Генри начал торопливо рассказывать о девятнадцатилетней пациентке с головными болями и внезапной острой потерей зрения, в анамнезе – аменорея и галакторея...

– Господи, парень, говори по-человечески: нерегулярные менструации и выделения из сосков! – рявкнул Уэйли и помчался по коридору, придерживая рукой полу пиджака.

Принесли стул, чтобы доктор мог осмотреть пациентку сидя. Пыхтя и отдуваясь после быстрой ходьбы, он заглянул ей в глаза. Розалинд замерла, запрокинув прекрасное бледное лицо. Черт лица хирурга она уже не различала; все, что ей оставалось, – голос и прикосновения. Диагноз Уэйли поставил быстро.

– Ну что ж, милочка, похоже, у вас опухоль гипофиза. Это такая железа в центре мозга, размером с горошину. Вокруг опухоли произошло кровоизлияние, и

сгустки крови давят на зрительные нервы.

Он сидел возле высокого окна, и, должно быть, Розалинд различала очертания его фигуры – почти невидящие глаза ее напряженно вглядывались в его лицо. Несколько секунд она молчала. Затем тихо, с каким-то детским удивлением спросила:

– Значит, я действительно могу ослепнуть?

– Нет, если мы вас прооперируем немедленно.

Она кивнула в знак согласия. Уэйли приказал ординатору быстро провести томографию, а потом – сразу в операционную. Затем, наклонившись к ней, мягко, почти нежно объяснил, что опухоль выделяет пролактин, гормон, связанный с беременностью, поэтому у нее нарушен менструальный цикл и из груди выделяется молоко. Сказал, что опухоль, скорее всего, доброкачественная и за операцией последует полное выздоровление. Главное – все сделать быстро. Для подтверждения диагноза бросив беглый взгляд на грудь (Генри ничего не видел – все загородила широкая спина хирурга), Уэйли встал, громогласно отдал несколько распоряжений и ушел менять свое расписание на остаток дня.

Генри сопровождал ее из рентгенологии в операционную. Она лежала на каталке и умирала от страха. А он, третьекурсник, не мог даже сделать вид, будто знает, что ей предстоит. Вместе с ней он ждал в коридоре анестезиолога. Они немного поговорили: она сказала, что учится на юридическом, что родных в Лондоне у нее нет. Отец живет во Франции, мать умерла. Любимая тетька – в Шотландии, на Западных островах. В глазах у Розалинд стояли слезы, но голос почти не дрожал. Указав на огнетушитель на стене, она сказала, что может быть, последний раз в жизни видит красный цвет. Не может ли Генри подвезти ее поближе? Тогда она запомнит. Жаль, опять только мутное пятно. Он говорил: все будет хорошо, вот увидите, такие операции всегда проходят успешно. На самом деле он, конечно, ровно ничего не знал; во рту у него пересохло, и колени дрожали. До профессиональной беспристрастности медицинского работника ему было еще далеко. Должно быть, тогда-то он ее и полюбил. Открылась дверь, и они вошли в операционную вместе: санитар толкал каталку, Генри шел рядом, а Розалинд комкала в пальцах салфетку и смотрела в потолок так, словно хотела запомнить его на всю жизнь.

Болезнь набросилась на нее внезапно, в библиотечной тиши, и она осталась один на один перед лицом неизвестности. Она пыталась успокоиться, дышала медленно и глубоко. Пристально всматривалась в лицо анестезиолога, вводящего ей в вену тиопентон. Затем она заснула, а Пероун поспешил мыть руки. Доктор велел ему остаться и посмотреть, как проходит операция. Транссфеноидная гипофизэктомия. Когда-нибудь придется самому. Даже сейчас, много лет спустя, он любит вспоминать, как храбро держалась Розалинд. И как этот кошмар обернулся счастьем для них обоих.

Что еще мог сделать юный Генри Пероун, чтобы вернуть зрение прекрасной деве, страдающей от гипофизарного кровоизлияния? Помог переложить ее бесчувственное тело с каталки на операционный стол. Закрепил на рукоятках операционных ламп стерильные покрытия, как подсказал ему ординатор. Убедился, что все три зажима прочно удерживают голову. Под руководством того же ординатора (Уэйли на несколько минут вышел) промыл пациентке рот антисептиком, отметив при этом безупречные зубы. Несколько минут спустя, когда мистер Уэйли, сделав разрез на верхней губе, раскатал в стороны ее лицо и открыл носовые проходы, Генри помог установить громоздкий операционный микроскоп. Экрана не было – видеотехнология в те годы была в новинку, и в этой операционной видеосистеме еще не установили. Но во время операции Генри смотрел в микроскоп довольно часто – каждый раз, когда от объектива отходил ординатор. Он видел, как Уэйли движется по клиновидной пазухе, сняв ее переднюю стенку. Затем он ловко подцепил и отодвинул в сторону костяное основание гипофизной ямки – и меньше чем через три четверти часа от начала операции взору Генри открылась тугая, вздутая пурпурная железа.

Не отрываясь, смотрел Пероун на решительный взмах хирургического скальпеля и на то, как охряно-желтая опухоль и темные сгустки крови исчезают в недрах отсоса. При внезапном появлении прозрачной жидкости – спинномозговой, понял Генри, – хирург решил залатать отверстие абдоминальным жиром. Он сделал небольшой поперечный надрез в нижней части живота Розалинд, хирургическими ножницами отделил кусочек подкожного жира и положил его в кювету. Затем очень осторожно продел жировую ткань через нос, поместил в то, что осталось от клиновидной пазухи, и закрепил назальными тампонами.

Вся процедура поразила Генри своей парадоксальностью. Сама операция проста и элементарна, как пломбирование зуба: вырезать опухоль, удалить сгустки крови, давящие на зрительные нервы, – и зрение вернется. Но путешествие в этот отдаленный и укромный участок мозга требует высочайшего мастерства и

предельной сосредоточенности. Вскрыть лицо, удалить опухоль через нос, вернуть пациента к жизни – без боли, без инфекции, с полным восстановлением зрения: все это казалось чудом человеческой изобретательности. За этой процедурой лежало почти столетие неудач и частичных успехов, множество испробованных и отвергнутых методов, десятилетия поисков и изобретений – вплоть до таких, как изобретение микроскопа или оптико-волоконной подсветки. Эта процедура была и дерзкой, и человеческой: рискованная смелость средств сочеталась в ней с благородством цели. До сих пор Пероун мечтал о карьере нейрохирурга как-то теоретически. Он выбрал мозги, потому что в мозгах копать интереснее, чем в мочевых пузырях или коленных суставах. Теперь же его планы на будущее определились окончательно, он увидел, к чему должен стремиться. Когда Уэйли начал зашивать разрез и чудное, нежное лицо Розалинд вновь стало таким, как было, – без единого шрама, без единой уродующей царапины, – Генри едва не прыгал от восторга при мысли о том, что скоро, совсем скоро научится делать то же самое. Тогда-то он и влюбился в жизнь. И в Розалинд, конечно. Для него это было одно, нераздельное чувство. В восторге готов был даже оставить чуть-чуть любви для самого маэстро, мистера Уэйли, шумно пыхтящего из-под маски. Убедившись, что опухоль и кровяные сгустки удалены полностью, мистер Уэйли отбыл – его ждал следующий пациент, – оставив красавчика ординатора собирать заново прекрасные черты Розалинд.

Быть может, не вполне профессионально повел себя Генри и после операции, когда загодя явился в реанимационную палату и выбрал такое место, чтобы, очнувшись, Розалинд увидела его первым? Неужто в самом деле надеялся, что, открыв затуманенный морфием взор, она сразу его заметит и полюбит с первого взгляда? Так или иначе анестезиолог со своей командой оттеснил Пероуна к стене. Ему велели выйти и заняться делом. Но он не послушался. Он стоял в двух шагах от ее головы, когда она зашевелилась и наконец открыла глаза, и по растерянному взгляду на еще неподвижном лице он понял: она пытается вспомнить, что произошло, а потом слабо, болезненно улыбнулась, когда осознала, что зрение к ней возвращается. Сейчас она еще видела все как в тумане, но знала, что через несколько часов все будет хорошо.

Несколько дней спустя он помог ей уже по-настоящему – снял швы с верхней губы и извлек носовые тампоны. И каждый день после смены заходил в палату, чтобы с ней поговорить. Она казалась очень одинокой: бледная после пережитого, обложенная толстыми юридическими учебниками, с волосами, пошкольному стянутыми в две толстые косы. Навещали ее только две девушки – соседки по квартире. Говорить ей было больно: она разговаривала короткими

фразами, в промежутках отхлебывая воду из стакана. Розалинд рассказала, что мать ее погибла в автокатастрофе три года назад, когда ей было шестнадцать; а отец – Иоанн Грамматик, знаменитый поэт, живет в собственном замке в Пиренеях. Генри не помнил поэта Иоанна Грамматика, и Розалинд процитировала ему стихотворение «Гора Фудзи», которое входит во все школьные сборники. Честно говоря, стихотворения Генри тоже вспомнить не смог. Но Розалинд это не смутило, как не смутило и его куда более скромное происхождение: тихая пригородная улочка в Перивейле, единственный ребенок, не помнящий своего отца.

Много месяцев спустя, когда они, уже возлюбленные, ветреным вечером плыли на пароме в Бильбао, Розалинд шутливо заметила, что Генри очаровывал ее по старинным правилам – неторопливо и основательно. Блестяще спланированная осада увенчалась успехом, сказала она. На самом деле темп и стиль задавала она – он подчинялся. Почти сразу он понял, как легко ее спугнуть. Она действительно была очень одинока – и не только в больничной палате. Была в ней какая-то настороженность, какой-то молчаливый испуг, не позволяющий открыто и беззаботно радоваться жизни. Внезапное приглашение на пикник, неожиданный приезд старого друга, билеты в театр на сегодняшний вечер – все это ее не радовало, а смущало, почти пугало. В конце концов она могла поблагодарить и согласиться, но первая реакция всегда была хмурой, настороженно-недовольной. Только среди юридических талмудов, погрузившись в давно оконченное, вдоль и поперек изученное дело Донахью против Стивенсона, она чувствовала себя в безопасности. Генри понимал: стоит ему сделать что-то неожиданное – и это недоверие распространится и на него. И еще понимал: чтобы завоевать доверие дочери, нужно узнать и полюбить ее погибшую мать. Ему приходилось ухаживать и за призраком.

Дочь Марианны Грамматик не столько оплакивала свою мать, сколько не позволяла ей уйти. Этим и объяснялись замкнутость и осторожность Розалинд: за плечом у нее стояла покойница. Смерть Марианны была настолько нелепой, что в нее трудно было поверить, – пьяный водитель возле вокзала Виктория выехал на красный свет, – и даже три года спустя дочь не могла смириться с потерей. Она молча беседовала с воображаемой собеседницей. Все, что с ней случалось, сопоставляла с матерью, которую всегда, с раннего детства, называла по имени. И с Генри часто говорила о ней – не только рассказывала о прошлом, но и пыталась угадать ее реакцию на настоящее. «Марианне этот фильм тоже понравился бы», – говорила она, выходя вместе с ним из кинотеатра. Или: «Это Марианна научила меня варить луковый суп, но так вкусно, как у нее, у меня никогда не получается». Или о Фолклендской войне:

«Знаешь, странно, но, мне кажется, против этой войны она бы не возражала. Она просто ненавидела Гальтьери». Много недель спустя после начала их дружбы – именно дружбы, осторожной и целомудренной, ничего более – Генри осмелился спросить, что ее мать сказала бы о нем. «Она бы в тебя просто влюбилась», – без колебаний ответила Розалинд. Генри увидел в этом добрый знак и в тот вечер, на прощание, поцеловал ее смелее обычного. Она тоже ответила чуть раскованнее, чем раньше, но все же не страстно и всю следующую неделю с ним не встречалась – была слишком занята. Одиночество и работа не угрожали ее внутреннему миру – в отличие от поцелуев. Он понял, что участвует в состязании. По логике природы, победа останется за ним – но только если он сдержит свое нетерпение и будет продвигаться по-старомодному медлительно, со скоростью зверька лори.

Все разрешилось на пароме, в крошечной кабине с уходящим из-под ног полом, на узкой койке. Розалинд это далось нелегко. Любовь к Генри означала для нее начало разлуки с верной подругой – матерью. Утром, проснувшись и вспомнив, что накануне перешла черту, Розалинд заплакала – нет-нет, от радости, неубедительно объяснила она. Счастье казалось ей предательством; но счастье было неизбежно.

Они вышли на палубу, чтобы посмотреть, как солнце встает над портом. Чужой, неприветливый мир расстилался перед ними. По крышам приземистых бетонных зданий таможни лупил дождь; ветер, пронзительно воющий в проводах, подхватывал дождевые струи и уносил их в сторону, к серым стальным вышкам. Мокрая пристань была пуста, лишь какой-то старик обвязывал вокруг швартовой тумбы толстый канат. На нем была кожаная куртка и рубаха с открытым воротом, во рту – огрызок сигары. Он закончил свое дело и медленно двинулся к эллингам, словно не замечая дождя. Спасаясь от холода и ветра, они сбежали по трапу вниз, в душные глубины парома, и снова занялись любовью в тесноте, а потом лежали, прижавшись друг к другу, слушая, как корабельное радио призывает пассажиров покинуть судно. Снова она заплакала – и на этот раз объяснила почему: она забывает, как звучал голос матери. Предстояло долгое прощание. Генри знал: это лишь первая из многих предстоящих им прекрасных минут, омраченных тенью прошлого. Уже сейчас, когда они лежали, сплетаясь телами и прислушиваясь к шуму и топоту пассажиров в коридорах, он понимал, как серьезно то, что сейчас начиналось. Он встал между Розалинд и ее призраком: это ко многому обязывает. Они заключили негласный договор. Грубо говоря, переспав с Розалинд, он все равно что на ней женился. Любой нормальный мужчина на его месте мог бы испугаться ответственности; но так уж устроен Генри, что эта мысль доставила ему только радость.

И вот, почти четверть века спустя, она сонно шевелится в его объятиях, словно почувствовав во сне, что будильник ее вот-вот зазвонит. До восхода еще часа полтора; впрочем, в городе восход – чистая абстракция. Хоть на дворе и суббота, город мчится на работу. В шесть утра Юстон-роуд уже забита до отказа. Над ровным гулом автомобильного потока время от времени взвывается, как рев бензопилы, визг мотоциклетных моторов. Взвыл и затих вдали заунывный хор полицейских сирен: как видно, преступникам тоже не лень вставать в такую рань. Наконец Розалинд поворачивается к нему, от нее исходит теплая волна. Они целуются, и, даже закрыв глаза, он видит ее сияющий взгляд. Что за блаженство – изо дня в день засыпать и просыпаться в темноте под одним одеялом с любимым существом: белая, мягкая грудь, сближение лиц в ежеутреннем нежном приветствии, краткое самозабвение в тепле, уюте и ласке, в тесных объятиях, еще сильнее сближающих, – простое ежедневное счастье, почти банальное, о котором так легко позабыть в дневной суете. Интересно, писал ли об этом хоть один поэт? Не об одном-единственном утре, а о тех, что повторяются изо дня в день? Надо будет спросить у дочери.

– У меня такое чувство, – говорит она, – что ты всю ночь не спал. То вставал, то опять ложился. – В четыре часа спустился вниз и немного посидел с Тео.

– У него все в порядке?

– Мм...

Сейчас не время рассказывать о самолете, тем более что случай оказался пустяковым. А ту эйфорию, что подняла его с постели, он едва ли сможет описать. Позже. Все позже. Она просыпается – а его, наоборот, клонит в сон. Однако эрекция не проходит. Возможно, усталость обострила его чувства, а может, дело в пяти днях воздержания – или, быть может, в том, каким знакомым движением она прижимается к нему, подогревая его теплом своего тела. Сейчас он не готов проявлять инициативу – предпочитает положиться на удачу и ее желания. Если этого не случится – так тому и быть. Тогда он просто заснет.

Она целует его в нос.

– Постараюсь заехать за папой сразу после работы. Дейзи прилетает в семь. А ты к этому времени вернешься?

– Мм...

Дейзи, стройная, с бледной, как у матери, кожей, интеллектуальная, чувственная и безупречно корректная. Только представьте: подающая надежды поэтесса – в деловых костюмах, в белоснежных блузках, почти не пьет и лучшие свои стихи пишет до девяти утра! Маленькая дочка ускользнула от него во взрослую парижскую жизнь: в мае выходит из печати ее первый сборник. И не где-нибудь, а в почтенном издательстве на Куин-сквер, прямо напротив больницы, где он прооперировал свою первую аневризму. Даже ее привередливый дед, презирующий современную поэзию, прислал из своего замка почти нечитаемое письмо, в котором по расшифровке обнаружили бурные похвалы. Сам Пероун в таких вещах не специалист: он, конечно, рад за Дейзи, однако ее любовная лирика раздражает его, почти причиняет боль: как может его маленькая дочка так много знать, как смеет так живо мечтать о телах мужчин, которых он в глаза не видел? Кто этот тип, у которого «из белизны восстает чудесный цветок»? А этот, другой, который поет в душе, «как Карузо», намыливая при этом «обе свои бороды»? Генри сам стыдится такой своей нелитературной реакции. Старается отбросить отцовские собственнические чувства и читать стихи просто как стихи. И все же ему больше нравится, когда Дейзи пишет не о страсти. Вот, например: «Яд на шипах у этой розы...» Юная бледная девушка с розами уже очень давно не была дома. И сегодняшней ее приезд – как свет в конце предстоящего долгого дня.

– Я тебя люблю.

Это не просто слова, ибо в ответ Розалинд протягивает к нему руку и сжимает в ладони его тугое напряженное естество, а другой рукой пытается дотянуться до тумбочки и выключить будильник: от резкого неловкого движения мышц подрагивает матрас.

– Правда? Я так рад!

Они снова целуются, и она говорит:

– А я, между прочим, не спала. И чувствовала, как ты ко мне прижимался.

– Ну и как, понравилось?

– Мне сразу захотелось тебя, – шепчет она. – Только давай поторопимся. Мне нельзя опаздывать.

Вот так предложение! Его желание исполнилось, и пусть завидуют ему теперь все древние боги и деспоты! Генри сжимает ее в объятиях и страстно целует. Да, она готова. Так заканчивается его ночь, так начинается его день, с мыслью о том, что именно в этом суть брачного компромисса: в шесть утра, в темноте, без лишних слов, в спешке. Но это внешнее. Зато теперь он свободен – от мыслей, от воспоминаний, от бега минут и состояния мироздания. Секс дает нам возможность забыть про время и окружение, это биологическое гиперпространство, находящееся так же далеко от нашего сознания, как мечты. Это как воздух и вода. Другая стихия, говорила его мать. Это другая стихия, Генри: стоит в нее окунуться – и весь день пойдет по-другому. Этот день, Генри, будет не похож на другие.

## Глава вторая

«В подобном взгляде на жизнь есть величие». Он просыпается – или думает, что проснулся, – и слышит эту фразу, звучащую вновь и вновь под жужжание фена; позже, снова задремав, слышит, как открывается с легким щелчком ее гардероб – огромный встроенный шкаф, один из пары, с автоматической подсветкой и сложным интерьером из лакированных поверхностей и благоуханных углублений; еще позже она ходит по спальне босиком, почти неслышно шелестя шелковым халатом – должно быть, тем, черным, с тюльпанами, что он купил для нее в Милане; затем слышится деловой стук каблучков по мраморному полу ванной, где она совершает последние приготовления к выходу – красится и причесывается перед зеркалом; а пластиковое радио в виде голубого дельфинчика, закрепленное на двух присосках на мозаичной стене душевой, все повторяет и повторяет эту фразу, пока Генри не начинает улавливать в ней глубокое, чуть ли не религиозное содержание: «В подобном взгляде на жизнь есть величие», – вещает оно снова и снова.

В подобном взгляде на жизнь есть величие. Когда два часа спустя он просыпается по-настоящему, Розалинд уже нет и в комнате тихо. Ставня неплотно закрыта, и на пол падает полоска света. День за окном кажется яростно белым. Генри откидывает одеяло, перекатывается на другую половину кровати, не укрываясь, поскольку в комнате тепло, и ждет, пока фраза обретет контекст и смысл. Ну конечно же, Дарвин, вчера в ванной, последний абзац великой работы, которую Пероун так и не прочел толком. Добрый упрямый Чарльз, смиренно приплетающий все, от земляных червей до планетарных орбит, к своим последним выводам. В первом издании, желая смягчить результат, он призвал на помощь Творца – но душа его к этому не лежала, и из переизданий Творец исчез. Эти пятьсот страниц заслуживали лишь одного заключения: все бесконечное разнообразие дивных жизненных форм, которое можно найти под любым забором, в том числе и столь удивительные существа, как мы сами, возникло благодаря физическим законам, как следствие естественной борьбы, голода и смерти. В этом – величие. И некое горькое утешение в том, что на краткий миг нам дано это осознать.

Однажды на прогулке вдоль реки – Эскдейл в красноватых закатных лучах, чуть присыпанный снегом, – Дейзи процитировала ему начальную строфу из стихотворения своего любимого поэта. Филип Ларкин – для девушки довольно необычный выбор. «Если бы я был призван / создать религию – / я бы создал ее из воды». Дейзи сказала, ей очень нравится это лаконичное «призван»: оно заставляет задуматься – кто и как может призвать человека создать религию? Они остановились, чтобы попить кофе из термоса, и Пероун, трогая пальцем мох на перилах моста, сказал: если бы меня призвали создать религию, я бы создал ее из эволюции. Где найти лучший миф о творении? Бесчисленные миллионы лет великое множество живых существ, постепенно и незаметно перерождаясь, создавали многообразную красоту, исходя из неизбежной необходимости, подстегиваемые слепой яростью случайных мутаций, естественного отбора и изменений окружающей среды, и все это сопровождалось трагедией вымирающих видов; и в итоге рождается главное чудо – сознание, а с ним – мораль, любовь, искусство, города... Причем у этой версии есть дополнительное достоинство: ее истинность ничего не стоит доказать.

Когда он окончил эту не вполне шутивную проповедь – они стояли на каменном мосту над слиянием двух потоков, – Дейзи рассмеялась и даже, поставив чашку, захлопала в ладоши.

– Действительно, настоящая старозаветная религия! Особенно когда ты говоришь, что ее истинность ничего не стоит доказать!

В последние месяцы он по ней скучал – а сегодня она приезжает. Отличная суббота. Тео обещал посидеть дома, по крайней мере до одиннадцати. Пероун собирается приготовить тушеную рыбу. Значит, предстоит поход в рыбный магазин – и это едва ли не самая простая из сегодняшних задач: рыба, устрицы, мидии, неочищенные креветки. Именно этот список конкретных дел на сегодня, список покупок, заставляет его наконец встать и отправиться в туалет. Почему-то считается, что мужчине стыдно справлять малую нужду сидя – это, мол, женская привычка. Чуть! Струйка журчит, и последние остатки сна покидают Пероуна. Он пытается найти причину другого, неопределенного ощущения то ли стыда, то ли вины, то ли еще каких-то смутных переживаний, как от случайно допущенной неловкости. Оно возникло пару минут назад, и причина его остается неясной. Как будто вчера он сказал или сделал что-то смешное. Выставил себя дураком. И теперь даже не может себя разубедить и успокоить, потому что не помнит, что же стряслось. Ладно, какая разница? Прозрачная пленка сна еще окутывает его, замедляя движения: Пероуну она напоминает мозговые оболочки, которые ему приходится прорезать скальпелем. Величие. Должно быть, эта фраза приснилась ему под жужжание фена, а потом слилась с новостями по радио. В полусне человек имеет право на то, что среди бела дня сочли бы опасным симптомом. Однако сегодня ночью, подходя к окну, он не спал. В этом Пероун сейчас абсолютно уверен.

Он встает и спускает воду. Если верить глупому журнальчику, кем-то забытому вчера в больничном кафетерии, одна молекула утренней мочи в течение дня должна упасть ему на голову в составе капли дождя. Так говорит статистика; но статистическая вероятность – одно, а реальность – совсем другое. «Мы снова встретимся – когда и где, не знаю». Напевая эту песенку сороковых годов, он идет по бело-зеленому мраморному полу к раковине, чтобы побриться. Сегодня выходной, однако без этой привычной процедуры он чувствует себя неудобно. Надо бы взять у Тео пару уроков по расслаблению. Но Генри нравится бриться – нравится пенящийся крем, и кисточка из барсучьей шерсти, и бритва с тройным лезвием и удобно изогнутой ребристой ручкой насыщенно-зеленого цвета: прикосновение этого великолепного промышленного образчика к собственной плоти отлично прочищает мозги. Что бишь там Уильям Джеймс[5 - Уильям Джеймс (1842–1910) – американский философ-идеалист и психолог. Брат известного писателя Генри Джеймса (1843–1916).] говорил о забывчивости: когда забываешь вещь или имя, на ее месте в сознании остается пустая форма, вполне определенная, пусть и не воспроизводящая в точности исчезнувшее

содержание. Даже мучительно и тупо припоминая, ты продолжаешь точно знать, чем забытая вещь не является. Да, Джеймс умеет по-новому взглянуть на самое простое и обыденное; на взгляд Пероуна, его проза куда более точная по сравнению с многословием его брата – тот никогда не скажет прямо, а все ходит вокруг да около. Дейзи, строгий арбитр его литературного вкуса, наверняка с этим не согласилась бы. В университете она написала большую работу о Генри Джеймсе и даже сейчас может процитировать отрывок из его «Золотой чаши». Еще она помнит наизусть десятки стихов, выученных в детстве, – за это дед щедро давал ей карманные деньги. Да, училась она совсем не тому, что ее отец. Неудивительно, что они так любят спорить. И вкусы у нее странные. По ее настоянию он взялся читать тот роман, о маленькой девочке, тяжело переживающей скандальный развод родителей. Казалось бы, тема многообещающая; но бедная Мейзи скоро исчезла в тумане слов, и на сорок восьмой странице Пероун, по семь часов выстаивающий у операционного стола, неизменный участник Лондонского марафона, не в силах больше мучить себя и закрывает книгу. Другая история, где главная героиня – тезка его дочери, тоже его не порадовала. Какие выводы сделает взрослый читатель из рассказа о Дейзи Миллер, печальная судьба которой неудивительна? Что мир не всегда к нам добр? И все? Он наклоняется, чтобы сполоснуть лицо. Кажется, кое в чем он становится похож на стареющего Дарвина, который, как известно, даже Шекспира считал скучным до тошноты. Одна надежда на Дейзи: может, она вернет ему чувство прекрасного?

Окончательно проснувшись, он возвращается в спальню: вдруг захотелось поскорее одеться и избавиться от сумятицы, связанной с этой комнатой, со сном и бессонницей, с ночными размышлениями, с сексом. Воплощение всего этого – развороченная постель, верх неприличия. Когда желание проходит, возвращается ясность мысли. Все еще голый, он расправляет одеяло, поднимает с пола упавшие подушки и кладет их в изголовье, затем идет в гардеробную, в тот угол, где хранит спортивную одежду. На старте субботнего утра его ждут маленькие удовольствия – чашка горячего кофе и старый костюм для сквоша. Дейзи, аккуратистка, говорит, что он снял его с пугала. Синие шорты в бледных неотстирываемых пятнах пота. Поверх серой футболки – старый свитер, местами изъеденный молью. Поверх шорт – тренировочные штаны с веревочным поясом. Белые носки с желто-розовой каймой напоминают о детстве. От них исходит уютный запах прачечной. А вот от кроссовок пахнет резко, чем-то синтетическим и звериным одновременно: этот запах напоминает ему о корте, о чистых белых стенах и красной разметке, о неписанных правилах гладиаторской схватки, о победах и поражениях.

Бессмысленно притворяться, что результат его не интересует. На прошлой неделе он проиграл Джею Строссу; но сейчас, пружинистым шагом проходя по спальне, Генри чувствует, что сегодня выиграет. Он вспоминает, что ночью шел тем же путем, так же открывал ставни, – кажется, сейчас он вспомнит, что же за глупость сделал ночью... Но тут в лицо бьет блеклый зимний свет, и внимание Пероуна переключается на то, что происходит на площади.

Сперва ему показалось, что это девушки-подростки – обе хрупкие, с бледными лицами, слишком легко одетые для февраля. Сестры, наверное: стоят у ограды, безучастные к снующим вокруг прохожим, погруженные в какую-то семейную драму. Затем Пероун понимает: тот, что стоит к нему лицом, – парень. Трудно понять сразу, ибо лицо полускрыто велосипедным шлемом, из-под которого выбиваются густые каштановые кудри. Однако Пероун понял это по его позе, по тому, как он расставил ноги, по толщине руки, лежащей на девичьем плече. Девушка сбрасывает его руку. Она взволнована, она плачет, жесты ее выражают смятение: вот она закрывает лицо руками, но, когда парень придвигается ближе и пытается ее обнять, начинает, словно в старых голливудских фильмах, театрально колотить его кулачками по груди. Вырывается и отворачивается, но не уходит. Тонкое лицо ее напоминает Пероуну лицо дочери: тот же маленький носик, тот же острый эльфийский подбородок. Привлеченный этим сходством, он начинает смотреть внимательнее. Она хочет этого парня – и ненавидит его. У него в лице что-то хищное, какой-то звериный голод. Тоже хочет ее? Он не дает ей уйти, ни на минуту не закрывает рта – улещивает, умасливает, говорит не переставая, старается ее успокоить или в чем-то убедить. Она снова и снова заводит руку за спину, сует под футболку и почесывается. Чешется судорожно, машинально, словно не сознавая, что делает, продолжая плакать и отталкивать парня. Амфетаминовый зуд – зуд там, где почесать невозможно: призрачные муравьи ползают по ее артериям и венам. Или экзогенная гистаминовая реакция, обычная у опийных наркоманов на ранней стадии. Бледность, рыдания, истерические жесты тоже занимают свое место в общей картине. Эти ребята – наркоманы. И ее горе, и тщетные утешения ее спутника вызваны не семейной трагедией, а пропущенной дозой.

На этой площади люди часто разыгрывают жизненные драмы. Очевидно, улица им не подходит. Для страстей нужно зрелищное пространство наподобие театрального зала. Может быть, думает Пероун, утренняя свежесть и солнце направили его мысли в привычное русло, – может быть, тем и привлекательна иракская пустыня: плоское и, в сущности, пустое пространство на военной карте, где очень удобно выпустить пары гнева. Говорят, пустыня – мечта

стратега. В каком-то смысле то же можно сказать и о городской площади. В прошлое воскресенье какой-то парень два часа расхаживал здесь взад-вперед, выясняя отношения по мобильнику: он орал в трубку, и голос его утихал, когда он отходил дальше, и вновь нарастал в послеполуденной тишине, когда он возвращался назад. А на следующее утро, по дороге на работу, Пероун видел, как какая-то женщина выхватила у своего мужа телефон и шваркнула его об асфальт. А с месяц назад у ограды стоял на коленях какой-то тип в черном костюме и с зонтиком, в такой позе, словно голова у него застряла меж прутьев. На самом деле он, привалившись к ограде, рыдал. И та полоумная старуха со своими воплями – попробовала бы она так покричать где-нибудь посреди улицы, да еще три часа подряд! Сама публичность площади охраняет приватность этих интимных драм. Парочки приходят сюда поговорить или тихо поплакать на скамейках. Здесь, вырвавшись из тесных квартир, вдали от переполненных улиц, среди зелени, под щедрым небом и высокими платанами, люди вспоминают о том, чего им недостает.

Однако и в радости здесь нет недостатка. Перейдя к другому окну и растворяя ставни, чтобы впустить в спальню побольше света, Пероун замечает в дальнем конце площади, ближе к индийскому общежитию, веселое оживление. Там творится что-то необычное. Двое азиатских парней в тренировочных костюмах – он их знает, они работают в газетной лавке на Уоррен-стрит – сгружают из кузова машины на тележку всякую всячину: толстые стопки плакатов, сложенные транспаранты, картонные коробки со значками и свистками, рожки и трещотки, карнавальные шляпы и резиновые маски политиков: карикатурные физиономии Буша и Блэра тупо глядят в небеса, яркий свет придает им какую-то призрачную белизну. В нескольких кварталах к востоку Гауэр-стрит – одна из отправных точек марша; оттуда выплескивается возбуждение, доходящее даже до этого тихого местечка. Вокруг тележки с товаром уже собрались покупатели. Пероун не совсем понимает, чему они все так радуются. Здесь целые семьи, одна – с четырьмя детьми разных возрастов: все они в ярко-красных пальтишках, и все, видимо по строгому родительскому наказу, держатся за руки; и студенты; и сидящие дамы в стеганых куртках и прочных ботинках. Наверное, из какого-нибудь женского общества. Под напором покупателей продавцы сдаются: один из парней в тренировочных костюмах шутливо поднимает руки вверх, второй начинает распродажу прямо из кузова грузовика. Голуби, согнанные шумом со своих мест, мечутся, заполошно хлопая крыльями. Внизу, на скамье возле урны, поджидает их краснолицый человек, закутанный в какую-то серую попону; на коленях у него хлеб, нарезанный мелкими кусочками. Для детей Пероуна «кормить голубей» – синоним сущего идиотизма. Вокруг тележки, терпеливо улыбаясь, собрались кругом коротко стриженные ребята в кожаных куртках. Они

уже развернули первый транспарант, гласящий: «НАМ НУЖЕН МИР, А НЕ ЛОЗУНГИ!»

Все вместе несет на себе отпечаток какой-то невинности и легкого, чисто английского безумия. Пероун, уже одетый для схватки на корте, на миг воображает себя Саддамом: вот он с какого-нибудь багдадского министерского балкона наблюдает эту сцену – добросердечные избиратели западных демократий ни за что не дадут своим властям развязать войну. Но он ошибается. Одно о войне Пероун знает точно: она будет. С армией ООН или без нее, но будет. Войска уже стоят на позициях – осталось вступить в бой. С тех пор как он купировал аневризму иракскому профессору древней истории, увидел его шрамы и выслушал его рассказ, Пероун не знает, что думать о предстоящем вторжении. Мири Талеб – уже старик, без малого семидесяти лет, с хрупким, почти девичьим телом и нервным, визгливым смешком, который, кажется Пероуну, как-то связан с его тюремной одиссеей. Он защитил докторскую в Лондонском университете и прекрасно говорит по-английски. Его область – цивилизация шумеров, и более двадцати лет он преподавал в университете в Багдаде и занимался раскопками на берегах Евфрата. Однажды, зимой 1994 года, его арестовали у дверей аудитории, где он должен был читать лекцию. Студенты ждали его, но не дождались. Они так и не узнали, что произошло. Трое мужчин показали ему удостоверения службы безопасности, попросили проследовать с ними в машину. Там надели наручники. С этого начались его мучения: наручники были слишком тугие, и шестнадцать часов, пока их не сняли, он не мог думать ни о чем, кроме боли в руках. Оба плечевых сустава пострадали. Следующие десять месяцев профессор путешествовал по тюрьмам Ирака. Он не знал, с чем связаны эти перемещения, и не мог сообщить жене, что жив. Даже после освобождения он так и не узнал, что за обвинения против него выдвигались.

Пероун разговаривал с ним у себя в кабинете, а потом еще несколько раз в палате, после операции, к счастью прошедшей успешно. Для человека, приближающегося к семидесятилетию, Талеб выглядел отлично: по-детски гладкая кожа, длинные ресницы и аккуратно подстриженные черные усы – наверняка крашенные. Живя в Ираке, он не интересовался политикой и, когда ему предложили вступить в партию Баас, отказался. Возможно, из-за этого все и случилось. Или, может быть, дело в том, что один из двоюродных братьев его жены, давно умерший, в свое время был коммунистом; или в том, что другой кузен получил письмо из Ирана, от старого друга, изгнанного из страны из-за своего якобы иранского происхождения; или в том, что муж племянницы, уехав в Канаду преподавать, отказался возвращаться. Или, быть может, все оттого, что

сам профессор ездил в Турцию как археолог-консультант. Сам он не слишком удивился своему аресту, и жена тоже. Оба они знали – да и кто в этой стране не знал? – людей, которых вот так же хватали, сажали, мучили некоторое время, а потом отпускали. Люди просто исчезают, а через некоторое время появляются снова; они ничего не рассказывают, и никто не осмеливается спрашивать, ибо вокруг полно стукачей и любопытство может довести до беды. А некоторые возвращаются в закрытых гробах, которые строго-настрого запрещено открывать. Часто можно слышать о друзьях или знакомых, которые обходят больницы, полицейские участки и правительственные учреждения в поисках новостей о своих близких.

Мири сидел в душных, непроветриваемых камерах: в комнатку шесть на десять футов набивали по двадцать пять человек. Что это были за люди? Профессор безрадостно рассмеялся в ответ. Думаете, как в романах – уголовники вперемешку с интеллектуалами? Нет, по большей части самые обычные люди: вели машину без водительского удостоверения, или поспорили с человеком, который оказался партийным чиновником, или собственные дети, поддавшись на уговоры учителей, сообщили об их критических высказываниях в адрес Саддама. Или отказались вступить в партию во время очередной кампании. Или – еще одно распространенное преступление – кто-то из их родных дезертировал из армии.

Еще в камерах было полно полицейских и сотрудников госбезопасности. Многочисленные и разнообразные службы безопасности в Ираке живут в постоянном нервном соперничестве друг с другом; каждый офицер работает изо всех сил, чтобы не навлечь на себя подозрение. Порой под подозрение попадают целые отделы. Попытки – дело обычное. Мири с товарищами часто слышали за стенами камеры крики и ждали, что придет и их черед. Заключенных избивают, пытаются электротоком, насилюют, суют головой в корыто с водой, бьют палками по ступням. Все – от могущественных чиновников до уличного дворника – живут в тревоге, в постоянном страхе. Генри видел шрамы на бедрах и ягодицах Талеба: его хлестали, судя по всему, чем-то узловатым и колючим. Его били без ненависти, но с усердием, из страха – за палачами надзирал начальник тюрьмы. Тот тоже боялся – боялся лишиться должности из-за побега заключенных в прошлом году.

– Этот режим ненавистен всем, – рассказывал Талеп Пероуну. – Понимаете, государство держится на страхе, вся система держится на страхе, и никто не знает, как это остановить. Теперь пришли американцы. Может быть, у них

дурные цели – но Саддам и баасисты должны уйти. И когда они уйдут, дорогой мой друг доктор, с меня ужин в лучшем иракском ресторане в Лондоне.

Юноша и девушка уходят. Девушка, как видно, позволила себя убедить – или уступила собственному желанию; юноша обнял ее за плечи, она склонила голову ему на плечо. Она все еще чешется; свободная рука ее то и дело скользит то к пояснице, то ниже. Даже со своего места Пероуну видны розовые расчески на бледной коже. Тираническая мода заставила ее в февральский мороз выйти на улицу с голым пупком. Судя по тому, что она чувствует зуд, у нее еще не развилась толерантность к героину. Она еще новичок. Чтобы ей помочь, достаточно антагониста опиоидов, типа налоксона. Генри выходит из спальни, останавливается на лестничной площадке, глядя на антикварную французскую люстру, и размышляет, не броситься ли за девушкой вслед, не догнать ли – в конце концов, одет он как раз для пробежки. Но кроме рецепта ей нужен новый парень, который не станет толкать ей порошок. И новая жизнь. Генри спускается вниз; подвески на французской люстре тоненько позвякивают – где-то в глубине, под домом, притормаживает перед остановкой «Уоррен-стрит» поезд метро. Страшно представить, думает он, сколько больших и малых факторов, сколько совпадений потребовалось для того, чтобы одна юная девушка сейчас паковала вещи в Париже, готовясь к поездке в Лондон, где выходит ее первая книга, а другая, ее ровесница, брела рука об руку со своим губителем к краткому мигу химического блаженства, ведущего к безысходности так же неумолимо, как действие опиата на мю-рецепторы.

Хоть это и ненаучно, и неточно, но Пероун не может удержаться от мысли, что тишина в доме кажется как-то тяжелее оттого, что наверху, зарывшись лицом в подушку, спит Тео. Проснется, наверное, уже после полудня. Включит компьютерный плеер, примет душ, сядет на телефон. И лишь когда проголодается, выйдет из комнаты: спустится на кухню, включит проигрыватель там, нальет себе сока, быстренько сварганит салат или какую-нибудь мешанину из йогурта, меда, фруктов и орехов. Генри кажется, что такое меню не очень-то подходит блюзу.

Спустившись на первый этаж, он останавливается у дверей библиотеки, самой внушительной комнаты в доме, схваченной, словно моментальным снимком, солнечным светом, что, сочась сквозь полупрозрачные кремовые занавески, придает помещению серьезный и ученый вид. Книги собирала Марианна. Сам Генри, честно говоря, не предполагал, что когда-нибудь будет жить в доме с

библиотекой. Его давняя мечта – как-нибудь провести выходные здесь, растянувшись на диване, с чашечкой кофе под боком, погрузившись в чтение какого-нибудь шедевра, возможно переводного. Какого конкретно, он не знает. Неплохо было бы наконец разобраться, что же люди имеют в виду, вот Дейзи например, когда говорят о «великих писателях». Уже не раз он пытался решить для себя этот вопрос, но так ничего и не решил. По совести сказать, начал даже сомневаться в том, что великие писатели вообще существуют. Но выкроить час-другой для чтения удается редко, и не только из-за срочных вызовов, семейных дел и сквоша, но и потому, что эти еженедельные островки свободы приносят с собой беспокойство. Он не может позволить себе целых два дня валяться – или даже сидеть – на диване. Не хочет тратить время на наблюдение за чужими судьбами, тем более выдуманными, хотя только что потратил некоторое количество драгоценных минут, глядя на чужую жизнь из окна. Ему неинтересно заново открывать мир – куда полезнее было бы его объяснить. Времена теперь смутные, зачем еще что-то выдумывать. Чтение пухлых романов его не вдохновляет. Сосредоточен и терпелив Генри только на работе; на отдыхе его снедает жажда деятельности. Никогда он не понимал людей, которые в выходной по четыре-пять часов торчат перед телевизором, чтобы быть в курсе событий. На этой неделе в перерыве во время процедуры (сломался микродоплер, и замену пришлось тащить из другой операционной) Джей Стросс, встав во весь рост на фоне мониторов и шкал своей анестезийной машины, потянувшись и зевнув, сообщил, что вчера не мог заснуть, пока не дочитал до конца восьмисотстраничный роман какого-то нового американского дарования. Пероун был восхищен и смущен одновременно: может быть, ему просто не хватает серьезности?

Под руководством дочери Пероун все же осилил от начала до конца два общепризнанных шедевра – «Анну Каренину» и «Мадам Бовари». Ценой замедления ментальных процессов и потери многих часов ценного времени ему удалось полностью погрузиться в запутанный мир этих высокоинтеллектуальных сказок. И что же он из него вынес? Что адюльтер – вещь понятная, но неправильная; что в девятнадцатом веке женщинам, которые изменяли мужьям, приходилось несладко; да еще кое-что узнал о том, на что были похожи в те времена Москва, русская деревня и французская провинция. Дейзи уверяла, что гениальность проявляется в деталях; но детали оставили его равнодушным. Да, они достаточно точны; но человеку наблюдательному не так уж трудно их выстроить, нужна только усидчивость, чтобы все подробно записать. Словом, эти книги произвели на него впечатление не вдохновения, а добросовестного ремесленничества.

Однако эти авторы, по крайней мере, оказывали читателям любезность, разворачивая перед ними картины вполне реального, узнаваемого физического мира; а о так называемых магических реалистах, которых Дейзи изучала на последнем курсе, и этого не скажешь. И какого черта этим писателям – разумным взрослым людям, жившим в просвещенный двадцатый век, – вздумалось наделять своих героев сверхъестественными силами? Ни одно из этих кошмарных сочинений Пероун не сумел дочитать до конца. И ведь пишут не для детей! Герои в этих книгах то рождаются с крыльями (символ их близости к иным мирам, говорит Дейзи, но ведь мечта о полете давно стала метафорой вольнолюбия), обладают феноменальным чутьем, то выходят невредимыми из авиакатастрофы. А какой-то ясновидец, заглянув в окно пивной, увидел там своих родителей за несколько месяцев до собственного рождения и услышал, как они обсуждают, не сделать ли аборт.

Человек, чья работа – чинить поломанные мозги, обязан уважать материальный мир, знать пределы возможного. Для него это не вопрос веры, а банальное знание: сознание – продукт мозга, органа чисто материального. Это удивительно и непостижимо, это вызывает восхищение; вот какой тайной стоило бы заняться писателям, вместо того чтобы углубляться в туманные мистические дебри. Чтение книг из списка Дейзи все более убеждало Пероуна, что обращение к сверхъестественному – лишь компенсация недостатка воображения, поиск легкого пути, детское желание избежать реальных трудностей и реальных чудес.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

Под руководством Ханса Бликса в 2000–2003 гг. в Ираке работала комиссия ООН по поиску оружия массового поражения.

2

Игра наподобие тенниса, с ракеткой и резиновым мячом.

3

21 октября 1966 г. обвал террикона на окраине г. Аберфан в Уэльсе, вызвавший оползень, похоронил под собой 145 человек, среди которых было 116 детей.

4

Биафра – самоотделившаяся республика на юго-востоке Нигерии, просуществовала очень короткое время (с 1967 по 1970 г.).

5

Уильям Джеймс (1842–1910) – американский философ-идеалист и психолог. Брат известного писателя Генри Джеймса (1843–1916).

----

Купить: <https://telnovel.com/ien-makyuen/subbota>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)